

Игорь Тамарцел

И БЫЛ ВЕЧЕР, И БУДЕТ УТРО ...

Перед тобой утро нового дня, свежего и обнадеживающего, как первый миг творенья, как рассвет после помилования; ты в своем старом летнем кресле, служившем верой, правдой и основательностью полстолетия; у тебя на коленях чистый лист бумаги, белый, в слабую клетку, как и твои сегодняшние любимые брики из стираного холста, и на этом листе, а если не уложишься, то и на других, ты собираешься что-нибудь написать плящущим старческим почерком — тебе сто лет, и пальцы отвыкли от древних, еще с чернилами, авторучек, но ты так и не приспособился к новомодным записывающим устройствам, — что-нибудь прощальное, какое-нибудь окончательное литературное благословение, именно последнее, ведь ты уже стар и устал, одинок и в жизни, и в литературе, и <sup>сегодня</sup> утром, рано, в половине шестого — проснувшись, ты подумал, что сегодня — день твоего рождения — *dies celebrandis* — и будут поздравления, и друзья, — молодежь, они придут, как на поклонение святым мощам, — и речи, торжественные, унылые, будто некролог над гробом лукавого линчедя, и корреспонденты, такие же нагло-равнодушные, что и в прошлом веке, и придется произносить речь, что когда-то нравилось, — нравилось представлять, что тебя могут слышать и видеть везде, где захотят, — если захотят, — и ты произнесешь пару сотен напыщенных слов о сути искусства, о ценностях и поисках человеческого духа, о преемственности ошибок поколений, и под занавес, тронутый притворной теплотой собственной проповеди, как это бывало на прошлых юбилеях, ты всхлипнешь и увидишь на экране огромного телевизора слишком большое лицо в некрасивых подробностях: слеза величиной с поллитровую банку медленно поструится в расщелинах морции в поисках выхода, две слезы, разделенные недоступным для них хребтом носа, остального, как нож для бумаги, и это будет стыдно и скучно, потому что зрители, если захотят, смогут развернуть изображение и полюбоваться желто-розовой пленкой у тебя на макушке; и вообразив предстоящий день так ясно и живо, будто ты его только что пережил — годы отнимают силы и желания, но оставляют в насмешку! воображение — ты понял, что у тебя в запасе еще целый день жизни, который можно прожить взапуски, во весь дух... с учетом возраста и возможностей, полный день до самого вечера, а там — уже решено — пора гасить свечи, и это совсем не странно, иряд ли кого удивит твоя смерть, удивляются, что ты еще жив, и никого не сгорчит — удел старости: одиночество — никого, кроме правнучки Натали, и у

тебя заранее бегут мурашки между лопаток, когда представляешь себя, распластанного, бездыханного, равнодушного - мрамор! кость, высушенная ветром и солнцем! - и наконец - то освобожденного от всего в мире, и ее - ридящую и клянущую тебя за то, что ушел, не сказав всего, что понял и узнал; и ты не можешь уйти, не простишись с Натали; и вот эти письменные знаки, неторопливо бегущие по бумаге, неторопливо и неумолимо, как начало размножения - не забыть полить сегодня тольками, Натали их любит - как размножение неведомых любопытных существ, письмена, выводимые скриченной, сухой, каменеющей рукой, - засочное прощание с Натали - разве это оправдывает? - и, судя по всему, все сто свечей на праздничном пироге придется гасить тебе самому и не дыханием, а просто пальцами, потому что в тебе давно нет мощного дыхания - ты тихо дышишь на ладан - нет разницы не только между добром и злом, - они, как дряхлые и уже немощные звери, медленно подремывают в старой грудной клетке, и даже сердце - хильстый кусок мяса - их не волнует, но и между теплом и холодом...

...Холодом тянет на меня из прошлого, не раздрожающим, не сквозняком, а просто холодом, какой бывает в продолжительном пространстве, потому что смотрю я в другой конец су живящегося в обратной перспективе тоннеля длинной в сто лет и вижу выход, небольшое светлое пятно - солнце или искусственный свет? - и там, наверное, тепло от любви и ненависти, они - энергия, трата тепла или переход в тепло, там те, кто был тогда рядом со мной или против меня - какая разница? - там, наконец, я сам; и нужно войти в этот тоннель - неприятно, как в склеп, но что поделаешь? - преодолевая встречный холодный ветер - почему-то всегда дует из прошлого - ветер и запахи сырости, лежалого белья, пищевых отходов и нефти, чтобы ветер, как дорожную пыль, сдувал годы, мысли, переживания, обиды, зависть, удовлетворение, усталость, всю пелуху моего легкого и с плесенью, как завалящий сухарь, теплешнего авторитета.

Теплешнего авторитета ты не достоин, что иногда утверждаешь публично сам, хотя тебе не верят и смеются, чтой - мал кокетничает старик, как затасканная проститутка, не достоин, но пользуясь - а разве все вы достойны солнца, которым пользуетесь? - разве все вы достойны цивилизации, чьими отбросами являетесь? -

пользовалась, привык, потому что устал доказывать, что ты совсем не тот, каким тебя считают, приспособился, и при каждой смене стилей или поколений тебя, будто музейный экспонат, переносят на новую полку — конечно, не рядом с Чеховым, Акутагавой или Бриджесом, которые в новых переплетах, на новый вкус, на новых местах продолжают радовать новых ценителей, гурманов чувства, воспоминанием о простых прелестях былого — но и не в самый дальний угол, где пылится третьюстенная братия, ожидающая своего часа извлечения из Леты; привык настолько, что при каждом переносе — осторожно! не уроните! не поцарапайте! — ухищряешься изрекать мудрые сентенции а-ля-Ларошфуко, а-ля-Рёскин или а-ля-Сидоров, которого ты все же перекил и в литературе, и в жизни, что приятно само по себе; как привыкают к старому, до дыр обношенному костюму, в котором ты в том, дальнем конце тоннеля казался — и был, черт возьми! — ловким, молодым, упругим, выносливым, талантливым, мог обольщать и обольщаться.

Обольщаться мы умели и самостоятельно, и с помощью близких — а для чего же близкие, если не для того, чтобы помогать нам в этом святом деле? — и с помощью рекламы, — она там, на искусственном свете, думала за нас, любила,чувствовала, создавала, разрушала и забывала всех и всё за нас — политику, мораль, развлечение, искусство;

и с помощью близких, выдумывавших нас на своего болвана, на свое разумение, на свою похожесть: ты такой же, как и другие, только денег меньше и характер паршивее;

и самостоятельно, ведь себя, изнутри, мы знаем лучше, и в нас иная, отличная от внешней, логика, иные законы справедливости и красоты, вот почему люди с особенной страстью не понимают друг друга — ведь понять другого — значит перестать понимать себя;

умели — кому-то удавалось делать это всю жизнь, и тогда он бывал счастлив и умирал в обольстительном неведении, ведь знание уничтожает надежду: кому-то случалось это в начале, когда жизнь кажется растяжимой, удобной и яркой, как выходные подтяжки;

обольщаться, как обольщается большинство, пока, наконец, не приходит понимание, что все это — пустое, и неплохо бы попробовать с самого начала.

С самого начала, в середине прошлого века, ты получил крепкую закалку и серьезную подготовку, чтобы выстоять в таких условиях социального бытия, какие и не снились нынешним молокососам, именно нынешним, за будущих нельзя ручаться, возможно, потом обнаружится какой-нибудь феноменальный идиот, которому удастся при благоприятных обстоятельствах и попустительстве интеллигенции - при ее покорности и страхе - удастся уничтожить все права человека, или свести их к обезличенной компьютерной бирократии и полностью захватить власть, идеологическую и практическую, над умами, душами, желудками и кошельками;

нынешним, несмотря на систематизированное образование, идеальное воспитание и всякие психологические тренинги; ныне им, с дырявой памятью, вялыми эмоциями и дряблой волей ни за что бы не выдержать прежних условий духовного прорастания - засилье систем воспитания, образования, производства, диктатуру идеологий, моду на различные способы мышления и чувствования; в таких условиях, - прибавьте сюда голод, отсутствие медицинской профилактики, периодические эпидемии бездуховности, нарастание нравственной жестокости; в условиях непрестанного личностного выставивания шел противоестественный отбор человеческих характеров, - не так последовательно, как полагалось бы разумному человеку, илов в муках, господа, в муках! - рождение подлинного гуманизма, понадчулу расчлененного, разодранного на куски, как обломки после кораблекрушения, плавающие в огромном человеческом море, когда каждый претендовал на справедливость своей истины - истинность своей справедливости? - и в этих нечеловеческих условиях человеку ничего другого не оставалось, как быть человеком с невыясненным будущим: то, что тогда было будущим, теперь перед моими глазами, и его цена была явно завышена; хотя в те времена и бытовали многочисленные провидцы, предсказатели, футурологи, всякие марксисты чистых цветов и смешанных оттенков от нежно-розовых до слаочно-бредовых, были капитализированные социалисты и социализированные капиталисты, экзистенциалисты, номиналисты - боже, сколь разнообразен мир в своих заблуждениях! - но судьба любого не была так решительно предопределена, как теперь: тогда, помнится, многие приходили в оглушающее негодование от самой возможности программирования генетического кода, а теперь привыкли, и многие добровольно, и, самое ужасное, охотно идут на это, выбирая из неизвест-

ности, такой привлекательной в прежние времена, один аналог судьбы с минимальной вариативностью, с точной дозировкой способностей потомства и даже - *horrible dictu* - с заранее определенными приемами любовного наслаждения; в старые времена каждый мог выковать свою собственную судьбу, правда, большинство этим не занималось - так, паче безразлично, что питать своими соками, элитарную шеницу или сорняк, и такая возможность была как возможность невозможного - потому что шла не благодаря условиям, а вопреки им, и твоя закалка, собственно, позволила выдержать испытание эпохой - временем поголовного сумасшествия на почве истребления - "синдром потребительства": долгое лечение, почти безнадежное в большинстве случаев; на почве поголовного идеологического помешательства - "психоз верности идеалам": контактное заражение, в слабой форме присущ членам любого коллектива, в тяжелой форме социально опасен и неоднократно был источником немависти и потоков крови; выдержать, опираясь на имена и людей, бытавших в те времена, когда самым привлекательным казалось иметь имя, *être en vue*.

*Être en vue*, иметь имя - как это много значило для тогдашнего человека: вспомните, как лет пятьдесят тому назад все носились с этим убийцом Арнольдом Крисом, хотя некоторые его стихи нравились гурманам эмоциональной расхлябанностью, каким-то эстетическим непотребством, какой-то феноменальной утробностью, нравилось, что другие так не могут писать, как Арнольд Крис - все равно что сидеть без штанов перед видеотелефоном и чесаться; для человека взрослого имя значило много, - то же, что многофункциональная полигрушка для ребенка - давно уже нужно было браться за глубокое изучение детской взрослости и взрослой детскости, и, конечно, стоит приветствовать введение в педагогику специального курса "логики психических аномалий", может, хоть это способствует снижению преступности, в последнее время принимающей прямо-таки угрожающие размеры - куда смотрит полиция? - взрослые жили в мире имен, созданных наглой пропагандой и *contagium psychium* - дышали именами, мыслили именами, как я сейчас живу тем, чье имя - прошлое, бредили именами - имя сопутствовало человеку от рождения до смерти, начиная от набора для новорожденных (фирма "Калитка" гарантирует стандартное психобиологическое развитие ребенка) до ГНО (государственная помощь отходящим) - если вы уста-

ли от жизни, если вы, наконец, поняли, что ваше место скорее там, чем здесь - обратитесь в ГНО, и вам спроектируют и организуют безболезненный, спокойный, умиротворяющий и радостный переход в инобытие, как это теперь называется; одно время агенты ГНО зачастали и ко мне - проделки этого подонка Сидорова - которого я пережил, что само по себе приятно, хотя, сказать откровенно, с его глупой и позлой смертью ушла в инобытие какая-то часть меня самого, меня в жизни поддерживала и ненависть; все и всё в прежние времена жило и дышало именами машин, объемных телевизоров, стиральных порошков, музыкальных ансамблей, педагогических теорий, литературных талантов, политических деятелей - а где они? сейчас, например, только специалисты помнят имена этих просветителей, моя Натали всерьез убеждена, что эти господа - известные в прошлом цирковые эквилибристы, а я помню, какие они устраивали сеансы публичного общения; или еще: лет восемьдесят тому назад автомобильные фирмы носились с идеей абсолютного сгорания, или аэрологии - с теорией свободного полета, или биологии с методикой реанимации клетки, или философы - с обратимостью времени - имена, имена, имена! - где все это? Неужели и наши имена, наши надежды, утраты, разочарования, страсти, отчаяния, боль наша - все это неужели будет унесено назад, куда я сейчас двигаюсь, точно так же, как свежий северный ветер сметает засохшие летние листья в дальний угол моего сада? или лучше мне самому оставить здесь, в этом кресле, все свои имена и уйти туда - без привязанностей, без забот, налегке, обретая гулкость в груди, упругость в мышцах, а в сердце, - тоску, которая когда-то именовалась любовью? не странно ли, что в наши дни всеобщего и полного освобождения от привязанностей и обязательств все меньше людей рвется говорить о таком наивном и почти забытом человеческом свойстве, как способность любить? из писателей чаще других вспоминали об этом старики - пьяница Эрвин, вечно и надолго пропадающий в неизвестности Кастальс, полусумасшедший, соединяющий в себе все пороки своих друзей Гроссер, и я, о котором даже подумать с одобрением грехно; из философов, - сорока пятилетний сопляк Сильвестр Грей да еще несколько молодых, которым не грозит не только выйти из моды, как мы с Кастальсом, но и войти в нее, как не может войти в мою холодеющую кровь теплота и свежесть первозданного сентябрьского утра...

Милая Николетта, благодарю за искреннее и возвышенное послание, ясное, как небеса над твоей провинцией, и глубокое, словно вода в монастырском колодце.

Две недели живу я с чудными листами, исписанными твоим четким и округлым почерком, твержу слова и фразы — à loisir — перекатывая языкок и звук, и смысл, стремясь дознаться тайников твоих устремлений.

Месье Жильбер очень ловко обошел таможенных рукосуев и доставил в нетронутости все три твои письма — апрельское, июньское и августовское. Этот месье — малый честный и, видимо, неглупый, как я мог догадаться еще в Париже, однако ни бельмеса не смыслит в славянской тарабарщине, поэтому и благодарность моя, отлитая в расхристанные русско-французско-английские формы — *in the tatters* — ничуть не поколебала его по-прежнему ленивого европейского воображения, не изменила безмятежности открытого буржуазного лица. На том и расстались. Soit !

Старательно, будто боясь обмолвиться, ты поздравляешь меня с государственными праздниками, минувшими и предстоящими. Я понимаю: твои поздравления — паузы в трудном, запутанном диалоге, всего лишь, ибо *terro r præsentis* отирает от стадных игр, потому что счет этих игр от меня не зависит. И все-таки в ответ прими поздравления по случаю взятия Бастилии. *Vive le Roi !* В конце концов, когда проходит достаточно продолжительное время, неважно, по какую сторону баррикады ты находишься, сама баррикада в воспоминании объединяет, как славное прошлое.

А я все еще не привык к твоему имени ни в немом — в себе — прочтении, ни в звуке. *Nicolette* будто *épaulette*, *ingénue* в мушкетерском костюме. Переиначить, но как? Дуся — *douce*, Авдотья — *half-dotty*. Может быть, *Hélène*? Или как-нибудь еще? Пока играю перифразами, глядишь — иное твое имя проклиняется в общении, — свежим ростком сквозь замедленную почву.

Какие, однако, динамичные вопросы будоражат твою милую и — прежде? — забалмошную головушку. *C'est une petite fille charmante* — вдруг — полет в переплетенность, спутанность сомнений, догадок, предчувствий. Клянусь! не верю я ни сегодняшним твоим теологическим поискам, ни завтрашнему твоему монастырскому затворью. Ты — живой огонь, горячий, пламенный, негасимый, от которого не то что лампады — иконы всыхнут синей радугой! Soit... déjà raconté.

В одном ты совершенно права: ничуть, никакого ты не забыт, — три года слишком малый срок угасания, чтобы события или люди осмелились тебя заслонить. Но читавно сложив ладони, повторя за Августином Аврелием: "*animus est ipsa memoria*". Ты — моя душа, а я — твой память. Амен.

Илля Николетта, умильтельны, уморительны твои умозрительные попытки, как ты пишешь, "понять русскую душу". Само желание похвально, хотя итоги сомнительны. Русские вот уже тысячу лет — со времен искушения христианством — пытаются постичь собственную душу. Что из этого вышло? Всегда на русскую культуру девятнадцатого столетия — двадцатый век — *Domine, jam foetet!* — можно в расчет не принимать, если не учитывать технологию, инженерии и "чистую" науку, оставившую и продолжавшую оставлять грязь содомскую и в человеке, и вокруг него *et dans tout ce qui*. Иное дело — XIX. В нем есть все: и здоровый идеализм, и проказа материализма, и свинская безнравственность политики, и возвышенная трагедия самоутверждения совести. Все — на любой вкус, на любое потребство. Потому что XIX — эпоха развитого индивидуализма, ставшего на перевале истории собственной карикатурой.

За веком разума грядет век маразма.

Если ты скажешь, что мужики к сорока годам становятся верхушками, ты будешь права, но буду прав и я: лицо времени и чело нации — это лица молодых, которым погребать прошлое, а на лицах — они проходят передо мной сотнями — нет сильнее печали, чем печать душевной немощи и духовной импотенции. Именно им — представь! — должен исповедываться русской литературой я, *anima naturaliter christiana*. Зарабатывая на хлеб насущный. Педагогикой, вечной, как хлеб. И такой же чертвой, как вечный хлеб.

Эти взрослые, мои ученики, и не извиня, что они уже испорчены всем предыдущим житейским опытом, и не моя беда, что свет мысли не в силах разогнать мрак в их замусоренных головах.

Господь милостив, и на три десятка темных попадается светлая голова, и одно это уже вселяет надежду, что усилия оправданы, труд не напрасен, исповедь достигнет чистого сердца и отзовется энергией делания.

Обычно начинаю я просто: не впадая в облачную философию, доказываю этим мерзавцам — которых все-таки по-своему люблю, иначе как же исповедь? — доказываю, что они дураки. Чуть доказательства очевиден: человек отличается от животного способностью мыслить;

мысль может оформиться только в слове, бессловесная мысль - это бред, а ни один бред еще не способствовал заметному прогрессу; форма мысли - слово родного языка, в скольких бы словах эта мысль не встречалась, вот пример: *they will have loved* - *sie werden geliebt* - *habrán amado* - *ils auront aimé* - *amaverint*; в русском языке - миллион слов; ни одна голова не удержит их всех сразу; словарный запас Льва Толстого равен двумстам пятидесяти тысячам; словарный запас современного технократа - пятидесяти тысячам, в лучшем случае; современного тинейджера - мономии - пятнадцати; вы, говорю я им, знаете только пять тысяч, да и ящи не умеете пользоваться; единственный путь вымолоти из мрака невежества - литература, в которой - спасение; однако, за свою жизнь человек может прочитать около пяти тысяч книг, следовательно, большинство людей так и умирает, не узнав того, что было до них; а что было? - сейчас на земле пребывает лишь один процент всего живого на земле человечества, а ведь остальные девяносто девять процентов - четыреста миллиардов людей - тоже не зря коптили, они оставили после себя горький жадный опыт - нравственный, эстетический, социальный - и этот опыт заключен не во всех книгах, а, возможно, всего лишь в какой-нибудь тысяче книг, и именно этими книгами, говорю я им, мы будем заниматься. *Magister dixit.*

Как в наше время сохранен состав всего моря, говорю я им, так и в немногих книгах можно распознать, по словам А.Герцена, единственную трибуну, с высоты которой лишенный общественной свободы народ заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести.

Ты можешь спросить, чего же я хочу от своих учеников. Ведь ни времени, ни сил у меня, да и ни желания у них не достанет изменить даже собственную жизнь, не то что жизнь общественную. Да на это я и не рассчитываю, потому что стремлюсь видеть не массу, а отдельного человека, глупого, глупого, ограниченного каждодневными интересами, загнанного в клетку профессиональной или групповой морали, отдельного человека, которого еще можно спасти, как можно спасти самого себя, обложенного приказами, инструкциями, предписаниями.

Имя, стиснутого жесткой нехваткой времени, требованиями обязательной программы, почти связанного по рукам и ногам, все-таки остается одна, единственная и последняя возможность достучаться до глухих сердец - слово.

В жизни, говорю я им, как и в литературе, всякое развитие идет через преодоление конфликтов, через противоречия. Ибо история - это параллелограмм бесконечного множества неучтенных сил. Три типа конфликтов могут быть в жизни и в литературе: первый - внутри человека между чувством и долгом; второй - между людьми, третий - между человеком и обществом. Чем глубже противоречия, тем круче пружина развития, тем динамичнее всякое действие. И еще, говорю я им, жизнь, взята на всем своем протяжении, вплоть до иоогенеза, линена и цели, и смысла, но в пределах одного человеческого бытия способна обрести и цель, и смысл. Цель - это истина, добро, красота. Истина должна быть бесприимно чистой, добро - красивым, красота - добрей. Смысл - свобода от общества в обществе свободных, потому что человек и общество - разномыслы: оно стремится сделать человека общественным, то есть удобным, а он хочет сделать общество человечным, то есть неповторимым. Они взаиморегулируемы моралью и нравственностью. Мораль - это отношение человека к обществу. Нравственность - отношение человека к человеку.

Так говорю я им, моим ослям, никак не заботясь, дойдет ли до них мое слово, ведь они, бедные, бытуют по схеме *hatches, catches, matches and dispatches* - но задача моя определена: дать импульс, толчок, вышибть искру, разбудить дремлющую скрытую энергию.

Вот такие пироги, милая Николетта, и, как ты понимашь, огонь во мне еще не угас, и спасения твои были напрасны.

Ты - голодунка умная и прекрасно меня поймешь, а вот угроза твоя: в следующий раз написать мне по-русски, - ничуть не пугает, - в нашем отечестве мало кто знает русский язык; то, что именные литераторы именуют "языком", чаще всего бюрократическая извачка.

Целую край твоей руки - или в чем вы там ходите?

*Meneant in vobis Fides, Spes, Caritas. Tria haec: major autem horum est Caritas.*

Твой Старик.

Иногда мне казалось, что все вовсе не было, Григорий Сидорова, моего врага номер один, литературного спутника, сплетника, сыщика, доносчика, критика, деятеля, издевателя, хотя я следил за ним - вернее, наблюдал - на протяжении десятилетий: мы жили в одном регионе, в одном времени, в одном искусстве; я изучил его лицо, ми-

мiku, манаду выражаться, изучил так основательно, как не знал самого себя; иногда мы оказывались в одном круге знакомых; у нас были общие друзья, и они, разумеется, получали большое удовольствие от нашей взаимной ненависти — он понимал, что я — талантливее, долговечнее — а что может быть глубже и непримиримой, чем ненависть на почве искусства? — вспомните давний анекдот о Моцарте и Сальери и всю их кошмарную заварушку с отравлением изотопами; я понимал, что он — Гришка — практичесе, деловитее, что, по сравнению с ним, я неудачник и в литературе, и в жизни, и в любви, что он всегда будет тем препятствием, которого не преодоли, что он — фигура, ирец, халдей, что он занимает посты в журналах и близок к правительству — а что может быть круче и кипучее, чем ненависть, замешанная на комплексе неудач? все понимали, что я не раз говорил новые слова в искусстве и что Гришка их тотчас же подхватывал и развивал — так это называлось в его лексиконе — и в конце концов выдавал за собственное открытие — хотя бы ту же изобретенную мной для славянских литератур систему эстетического кодирования художественного текста и образа, и что если бы не Кирилла — я имею ввиду художника, а не его брата, музыканта, — оказавший мне всемерную и всемирную поддержку, то Сидоров и здесь был бы на коне, а я — пешим; помню, Гришка тогда надолго позеленел и даже перестал распускать про меня пакостные слухи — хобби, в котором он достиг совершенства; поддедка меня Кириллой была для Сидорова ударом, если не смертельным, то чувствительным настолько, что Гришка так и не поехал на европейскую конференцию, где мы оба должны были выступать на дискуссии о структуре малых форм искусства; там, на дискуссии, задним числом вспомнили о моих литературных заслугах, и в течение двух недель я купался в волнах уважения, почтения, интереса — визуальный рецидив моды; он не поехал, на конференции была его жена, "эта очкастая змеяка Надин", так ее прозвали за острый языкчик, гибкое тело и темно-зеленый блестящий костюм, в котором она появилась на открытии конференции; Надин и прочитала доклад мужа, озаглавленный по-сидоровски напыщенно — "Искусство как функция социализированного опыта" — и изложенный точным, правильным, но кибернетически холодным языком, мертвенным, сухим, дерущим уши, таким, каким Сидоров писал свои романы на социально-сочащиеся темы, романы, приводившие в восторг фригидных женщин и молодых химиков, как мимоходом определил Кастьалье в своем знаменитом — после конференции — интервью, в котором он обосновал решение уйти из искусства; но именно в те дни — когда мадам Надин появилась в мо-

ем номере в "Грин стар" - кстати, это отель, построенный англичанами, - один из лучших, какие я знал, и сравнительно с ним любой старообразный "Хилтон" - просто смрадная кониня, - в те дни и позже, уже звучнее, я догадывался, что, может быть, Платон был прав, и Гришка - только мое впечатление о нем, что он послан мне в изгнание, в наказание, в напоминание, в намек, что, кроме видимой, есть еще и невидимая сторона бытия.

Я прибыл в первой декаде сентября на Бискайи, куда, из-за очередной угрозы эпидемии терроризма, была перенесена конференция.

С вертолета, зависшего высоко над морем, отель, действитель но, казался восьмиконечной зеленою звездой. Сходство довершалось не только планировкой, конструкциями корпусов, не только внешней отделкой, но и легкой мерцающей дымкой, подвижной и мерной, будто море дышало. Вокруг отеля в радиусе двух-трех миль оно было серебристо-фиолетовым.

- Искусственный климат, - сказал по-испански пилот, которого я вначале принял за англичанина, он был какой-то *silencioso*, *soberbio*.

- *La cortina azul*, - прибавил он, указывая вниз на фиолетовую воду.

- *Aragón's?* - спросил я.

Он кивнул, улыбнулся, и я вспомнил Кастьальса.

- Вы здесь работаете? - снова спросил я.

- Только на время конференции. Океанолог, - сказал он.

Все-таки он был *silencioso*.

- Многие уже прибыли?

- Нет, - сказал он, но Кастьальс уже здесь, *echó rie a tierra*.

Мы тоже *echó rie a tierra* на большую круглую площадку в центре на крыше отеля. Там уже стояли два сорокаместных аэробуса - создания предельно функциональные и беспредельно безвкусные, как вся современная техника на порошковом топливе. Я сказал об этом пилоту, пока мы шли к лифту, чтобы спуститься в холл. Арагонец равнодушно махнул рукой.

- Не я их делал. Моя задача - подводные организмы.

Портъе узнал меня, - оказалось, видел какое-то юбилейное выступление, парень выглядел совсем молодым, - и тут же признался, что пишет стихи и был разочарован, когда я не выразил восторга по этому поводу; парень просто не догадывался, что на своем веку я видел столько стихов, что ни обрадовать, ни удивить, ни огорчить меня стихами невозможно, и поэтому, отойдя от конторки и направ-

ляясь в номер, я услышал за спиной, что "старик опять всем недоволен", и это была правда, я дугал себя за то, что согласился участвовать в конференции, и что - как стало известно в последний момент - вместо Сидорова, с которым я надеялся схлестнуться, окажется мадам Надин, а с женщиными, тем более с этой, я давно не вою, и потому, что номер, как я и боялся, оказался на последнем этапе, в самом низу, - просторный, с чистым воздухом и настоящими льняными простынями на постели (когда живешь так долго, как я, поневоле начинаешь уважать собственные привычки и слабости и винишь это чувство другим людям), но с окнами-иллюминаторами глубоко в воду (совершенно дурацкая затея - для меня, по крайней мере, я больше люблю небо, чем воду, она напоминает о могиле), и в довершение всего снаружи к стеклу прилипла всеми своими присосками какающую отвратительная харя - детище местной лаборатории - помесь спрута и морской калусти, и подмигивала мне и корчилась от наслаждения при виде меня; я показал ей кулак, и она забывчиво от молчаливого хохота; тогда я включил телефон и увидел на экране того самого портье, любителя стихов.

- Слушаю, сэр.

- У меня за окном проплыло какое-то существо с щупальцами.

- Это, наверное, Бригитта-7. Она совсем ручная.

- Понимаю. Но я не хочу брать ее в руки. Нельзя ли как-нибудь ее убрать?

- Сожалею сэр, но ваш номер не оборудован отпугивающим устройством.

- Спасибо, дружище, вы полагаете, я сам способен отпугивать? Парень улыбнулся во весь экран.

- Наверху есть свободный номер? - спросил я.

- Мы хотели сделать вам приятное: вечером за вашими окнами начнется настоящее представление, не хуже русского цирка. - Парень выслушал минуту моего молчания и посмотрел в картотеку перед собой. - Есть один номер на самом верху. С балконом, но без уплотнителей, и бывает прохладно.

- Хорошо, это то, что нужно. Куда идти?

- В лифте наверху вас встретят. Номер через шесть минут будет готов.

Наверху меня, действительно, встретила стандартная девица (минус-личность; унификация бытия - рак духовности, я всегда это говорил) и неслышно, русалочьей походкой, пошла впереди по коридору. Голубая дорожка из крашеной морской травы скрадывала шаги.

- Как зовут тебя, детка?
  - Пенелопа.
  - О Господи. Пенелопа. А другое имя есть?
  - Мама звала меня Джесси.
  - Это уже лучше, Джесси. Кто рядом со мной? Я не рано прибыл?
  - Нет, не рано. Справа от вас будет сеньор Кастальс. Сейчас он прогуливается по морю. Справа - какая-то русская. Она прибудет завтра. Мадам Надин Сидорова.
  - Боже, сколько выдающихся личностей.
  - Говорят, она очаровательная, несмотря на свой возраст.
- Вот ваш номер, месье... сэр...
- Не надо, милая, ты же знаешь, как меня все зовут.
  - Да, Старик, если это вас не обижает.
  - Ничуть. Можно звать меня просто "старина".
  - Хорошо, старина. Здесь пульт управления номером. Табло заказов. Переключение экрана на библиотеку. У нас хорошая библиотека. В ванной ваш любимый лед, правда, из морской воды. Большой опреснитель - в ремонта, а общий работает на весь комплекс. Программа конференции на столе. В штормовую погоду балкон автоматически закрывается сеткой. Кажется, все. Если понадоблись - позвовете. Привет, старина.
  - Привет, Джесси.

Я направился к окну - оно отодвинулось, и я вышел на балкон. Он нависал над водой метров на тридцать, и сверху отчетливо различались небольшие колонии водорослей и кочующих кораллов, они казались зелеными в подкрашенной воде, изредка недлленной тенью проплывала крупная рыба. Вдали на горизонте в тающей прозрачной дымке виднелись крохотные и четкие косые паруса рыбачьих лодок. Было тихо, и пахло ржавым железом.

В ванной я разделился до пояса, обтерся мелкими кубиками розового льда, пахнувшего йодом, стал на колени и погрузил руки в лед.

Я люблю лед, он напоминает о детстве (равнодушие и сентиментальность - вот главные пороки старости), - далекое детство, такое далекое, что, казалось, его вовсе не было, что я его придумал, - белый снег, иней на деревьях, скрип лыжни на морозе, запахи свежести и вечной новизны жизни. Запах, - может быть, именно это мешало мне сполна, безоглядно наслаждаться бытием: я различаю до сотни запахов - хлеба, молока, мяса разных сортов, синтетического и натурального, - запахи вин, обуви, одежды, дерева, земли, стен,

в которых жил, бумаги, новой и старой, запахи животных, птиц и растений, запахи людей — каждый из них, особенно женщины, несут как проклятие, как марку, как сортность — свой собственный запах, который меняется только три-четыре раза за жизнь; еще были запахи событий, поступков и обстоятельств, запахи доброты, злобы, ненависти, любви, и запахи одиночества и раскаяния. Горничная Джесси пахла йодом и синтетикой (ретаксоновая блузка), поэтому мне и не понравилось ее имя Пенелопа; у Кастальса был запах разогретого песчаника; от меня исходил запах старой пыли; у Надин было запах сосновой коры.

Я опустил голову и зарылся лицом в розоватый лед.

Меньше всего мне хотелось бы встречаться с Надин. Когда-то она была моей женой, и это, наверное, трудно — быть женой, особенно моей. Я отдавал ей все, что мог отдать — тело, речь, некоторые мысли, это не очень щедрый и не очень богатый набор, и так делают все, но она почему-то захотела завладеть моей душой, тем, чем я и сам владел не в полной мере (поэтому женщинам нельзя доверять обширной власти — они тотчас хвостят все власть, это опасно), и мы расстались, потом снова слились в экстазе, и опять расстались, потому что Надин заполучила подхолмную душу, и это была душа Гришики Сидорова (надеюсь, что Надин часто мыла руки).

Надин была одним из самых сильных моих влечений в прежние времена, не скажу, что последним влечением, последние влечения всегда помоятся на духовной основе, потому и дано им пролетать времена и расстояния. Чувства, как и мышечные ткани, с возрастом теряют реактивность, упругость, энергию.

Сейчас, когда уже на земле не осталось тех трех-четырех женщин, с которыми я бывал счастлив, — сейчас я счастлив оттого, что мне не дано испытать еще раз это самое прекрасное из всех мучительных и самое мучительное из всех прекрасных состояний. Для меня — это землетрясение: гигантской силы удар внутренних, неуправляемых сил раскалывает мир надвое с такой беспощадной нестаратимостью, что не оставляет ни времени на размышление, ни сил на спасение.

А Надин была очаровательна, как только может быть очаровательна умная женщина, и глупа, как всякая умная женщина за пределами своего ума, и трудновыносима. За первым ударом стихии последовал второй, трещина сузилась, и я ушел. Надин осталась на дру-

той стороне и — в пику мне, в отместку — взяла Сидорова, который был ничтожество, и создала из него анти-меня, — Сидорова-матра, законодателя прозы.

Сейчас, когда от времени гаснущих светлей я на двадцать с лишним лет вдвинулся в тоннель времени (Натали, девочка, видишь, как твой прадед-сморчок развеет, сбрасывая с плеч годы-переживания, годы-выставления, годы-противоборства, — видишь, лапушка?), сейчас я понимаю — я едва не плачу, зарывшись лицом в розоватый лед: нет ничего печальнее, чем позднее знание, — я понимаю, что и Надин любила меня, верила, знала меня, именно поэтому и возник в ее руках, ее волей, ее любовью ко мне возник Сидоров — дать мне возможность внутри себя подняться над ним.

Если бы это хоть кого-нибудь интересовало, кроме Надин, которую я увижу завтра, и Кастальса, он придет сегодня.

Лежа лицом на розоватом льду, приятно освежавшем теплую кожу, я думал, а не слишком ли страшную нощу я возваливаю на себя, возвращаясь в прошлое? Не раздавит ли груз столетия? Ведь я уже знаю, что Надин давно и беспробудно спит под сосной на берегу Финского залива; привилегия, полученная покойницей за то, что памятник над ее прахом — спящая нимфа из нержавеющей стали — памятник вписывался в дюны, в сосны, в море, в ветер: несите лилии, ее любимые цветы, любите за то, что холодны и с них смываются следы прикосновений, несите вы, знавшие ее тело и не постигнувшие ее души.

Но это потом, а завтра — давным вчера? — я увижу и ее, и тоикое, высокомерное лицо Кастальса, узкое и жилистое, как ребро ладони, лицо с глубокими прорезями-складками-морщинами у носа и вокруг рта, лицо поэта, разыгрывавшего роль философа, лицо философа, слагавшего текст для актера-поэта; услышу его голос, глуховатый, иногда скрипящий, как новое перо по глянцевой бумаге, его старо-испанскую речь, где, бывало, как пятна утреннего солнца на изумрудной зелени трав, ложились под ноги серого осла мудрые мысли сумасшедшего ламанчского рыцаря.

*La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos: con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida.*

Пабло Кастьяльс только что вернулся из прогулки по морю, которое он любил с такой же безутешной страстью, как каталонское солнце и каталонскую пыль, и теперь сидит у меня в номере, провалившись в кресло так, что на уровне плеч торчат под колени, острые и молословатые, как сучья на старом дереве; его большие — *in folio* — руки, намятые веслами, покоятся на подлокотниках кресла, подбородок, как перст указующий, направлен на меня, темносиние глаза сверкают.

У Пабло потрясающая память, — он в молодости говорил, что память и сексуальные потенции — это координаты жизненности; в зрелости он утверждал, что умственные потенции и сексуальная память — основа китайской мудрости; теперь он вещает, что только память — коридор, ведущий в будущее, — и если вы встретитесь с ним через сто лет после того, как расстались, он тотчас продолжит разговор с той фразы, на которой он был прерван.

В прошлый раз, лет пять назад, он как будто собирался высказаться о моей давней повести, — ее уже никто не помнит, — "Апокалипсис на кларнете", — где речь шла о человеческой свободе, а Пабло в те времена интересовался этим в связи с собственным творческим тупиком.

Обычно я равнодушен к критике своих писаний: чаще всего такая критика — редкие зерна остроумия в грудах неоформленного бреда (оформленный бред может обладать законченностью, стройностью и логической красотой, — почитайте статьи Сидорова обо мне), поэтому на свете немного людей, чьим мнением я дорожу.

Один из них Пабло Кастьяльс.

Сколько я его знал, он приблизительно раз в десять-пятнадцать лет выдумывал для себя теорию существования и поведения человека в мире. Для самого Кастьяльса его теория была дубиной, скальпелем, с помощью которых он оглушал и препарировал своих героев.

В тот раз это была теория психологического источения человека, источения в любви, ненависти и борьбе за место под солнцем, и Кастьяльс написал несколько рассказов, объединенных общим персонажем. От эпизода к эпизоду читатель видел, понимал, чувствовал, почти осязал, проникался ощущением, как внутренне слабеет герой рассказа, как суживается его интересы, мелеют его эмоции, как костенеет его переживания, как из двенадцати человеческих чувств у него остается только чувство голода, и в своем стремлении удовлетворить его герой кончает жизнь путем обкорства.

Помнится, Сидоров, чья ненависть ко мне распространялась и на моих друзей, проанализировав с помощью компьютера синтез сериала и красочный пахучий язык, доказывал, что рассказы Кастьяна - симптомы падения литературного таланта. В свою очередь, франко-итальянская группа гиперлевых с помощью другого, римского компьютера доказала, что, во-первых, Сидоров - идиот, что очевидно выводится из неестественной логичности его рассуждений, что, конечно, доказывает, что в биосистеме Сидорова нарушен иррациональный уровень контровязи нервно-моторных блоков; и, во-вторых, что Сидорова вообще не существует, поскольку в текстах, подписанных этим именем, отсутствует субъективная локальность интересов и что, следовательно, Сидоров - скорее всего литературно-идеологическая мистификация московского отделения Нен-клуба.

Я по телефону зачитал римский манифест самому Сидорову на его домашний информатор, продиктовав тем же скрипучим, как ржавая калитка, тембром голоса, каким Сидоров читал в университете свои помпеаные рефераты.

- Так вот, старина Санчо, что собирался я тебе сказать о творческой свободе. Только тогда ты так быстро измыгнул в самолет, что мне пришлось затолкать окончание фразы обратно себе в глотку. Если мы примем свободу как регулятор социального общения, тогда мы отречемся от неповторимости личности, от ее третьего измерения - творчества, поскольку два других, пространство и время - конечны. Если же мы примем свободу-творчество как условие и способ существования внутреннего человека, тогда зафиксированная в пространстве и времени социальная структура, как форма бытия человека, утрачивает право на существование и также теряет смысл. Приняв первый принцип: свобода - социальна, - мы становимся догматиками; приняв второй: свобода - антисоциальна, - мы станем анархистами. Анархия - это догма наизнанку. Итак, приняв, что свобода - это условие бытия творчества, а творчество - это форма проявления свободы, попытаемся определить способ оформления условия свободы-творчества.

Пабло прервал свои рассуждения, протянул костлявую руку к столу, легко ухватил длинными пальцами стакан марсалы, сделал глубокий глоток и продолжал:

- С другой стороны, творчество, чтобы развить то, что заложено в нем, должно питаться соками времени-пространства человеческого общества, причем так, чтобы не воспроизводить форм этого общест-

ва, иначе творчество станет двухмерным, плоским, конечным, целенаправленным и перестанет быть свободным. Тогда творчество станет реалистичным, а хуже реализма ничего не придумать, разве что...

Он поставил стакан и почмокал губами.

- ...разве что преждевременно увядшую марсальу. Творчество и реализм - кровные ненавистники. Они убивают друг друга в зародыше. Все, что может сделать реализм - это убить творчество в зародыше. Все, что может творчество, чтобы стать свободным - это взорвать логику реализма. Например, поменять местами время и пространство, то есть сделать время замкнутым, а пространство длительным. Настоящее творчество - аналогично, это мир чистой фантазии. К подлинному творчеству трудно привыкнуть, как для европейца - читать справа налево. Что ты скажешь на это?

Что мог я сказать? Как все подобные монологи, речи Кастьяна напоминали времена начинания, когда искусство казалось всемогущим, всё могущим, слово - всесильным, чувство - всеобъемлющим, но с тех пор искусство, - порыв, вдохновение, призыв, горение, сотворенное для искусства, а не просто искусно сделанная вещь, подделка, мы давно живем в мире подделок, сейчас даже естественным вещам придают вид синтетики, - с тех пор искусство, пройдя все меры развития, - индивидуальный, групповой, массовый, - стало целью, предметом идеологического производства, иллюстрацией к образу жизни; слово, бывшее когда-то юным, сильным, легким, умеющим перелетать века и континенты, стало элементом в системе регуляции поведения; из огромного разнообразия чувств остался биполь "удовлетворение - неудовлетворение", и последняя на земле любовь умерла в прошлом веке, куда - если судьба даст силу ногам и мужество сердцу - я и направлялся, чтобы посмотреть, что осталось от всего этого - горстка слез, впитанных бумагой, кусок жизни, всосанный временем.

Я понимал, что Кастьяна подбрасывает шутку, - только бы он не догадался, что я иду в обратном направлении и знаю, что через неделю он публично откажется от своего творчества, а через месяц затеряется на островах океана, и сам он об этом еще не знает; что через десять лет я напишу о нем почти реалистический роман, - подкинул шутку, а сам идет, притаился, насторожился, будто зверь, плотоядный и свободный, и даже крылья носа изогнулись, и нос будто идал моего ответа, чтобы сорваться со впадных щек и ринуться в атаку.

- Что касается меня, Пабло, то я знаю наверняка одно: творчество должно опережать сиюминутную жизнь. В этом смысле оно - это прошлое, заброшенное в будущее и, значит, должно обладать массой и энергией. Как говорил один оригинальный литератор, нужно писать так, чтобы бросил стихотворение в окно - и окно разбилось. Можно сказать иначе: человечество ограничено в своих протяженностях. Искусство - это игра в замкнутом пространстве. Как и жизнь - игра в замкнутом пространстве, и цель игры - пытаться играть как можно лучше, хотя всякий знает, что когда-нибудь занавес обязательно упадет. А правила этой игры, ее скрипет - и есть предмет искусства. И все скрипты - стари. Открой новый скрипет - и ты совершишь революцию в искусстве. Однако новых скриптов не бывает, потому что человек - ограничен. Все скрипты, старые, новые и ненаписанные, вошли в справочник "Сфинкс". Тираж - тридцать тысяч.

Кастальс с улыбкой покачал головой:

- Скрипет - это скелет, а плоть - дело рук художника. Во всяком случае, один интересный скрипет ожидается завтра.

- Что же имение? - спросил я, догадываясь, куда клонит Кастальс.

- Завтра появится мадам Сидерова, и роман, прерванный в предыдущей главе, продолжится с такой силой, что вы спалите пол-стели.

- Да, знаю. Но это не пройдет. *Detrás de la soga está el diablo. No pasaran.*

Я понял, что мы с Кастальсом разошлись во времени: он уходил вперед, к своему туманному, странному, отщельническому будущему, я - назад. Я понял, что прошлое от нас мало зависит, оно живет собственной жизнью, и когда мы возвращаемся, мы находим все не таким, каким его оставили. Я понял, что, вернувшись, могу не застать тех людей, с которыми прежде встречался.

Мягкий, инейязчивый, текучий голос из динамика в номере произнес:

- "Атилла и Катарина" через полчаса в зале на третьем этаже. Потрясающая полнометражка Джереми Кригера. Дельфинья любовь. Эротика, пропущенная сквозь философию даэна. Красочные, незабываемые картины подводных миров. Через полчаса дельфинья любовь - "Атилла и Катарина". Гран-при на каннском фестивале. Оскар за

исполнение лучшей мужской роли. Операторская работа внука Ж.-И. Кусто. Музыка Лингера. В зале. На третьем этаже.

Мы с Кастьльсом взглянули друг другу в глаза и рассмеялись. Дельфиная так дельфина.

## 4

Милая *Nicolette-Hélène*, твое торопливое сумбурное письмо добежало со спринтерской скоростью. Я имею от удовольствия при мысли, что твоя головушка была занята мною между "Pater noster" и "De profundis".

Твои душевые смятения, сомнения, весь тяжкий путь к истине бесконечно памятны и близки, и я проходил через это с той разницей, что ты приходишь к Богу, или, по крайней мере, идешь к Нему, если не заманит тебя боковые уклончивые тропы, а я приходил к безбожию, неверию, скепсису, цинизму. Возможно, мы оба идем к своим разным? — вершинам и — кто знает? — окажемся на одной высоте над уровнем жизни, но разделенные такой широкой пропастью, что только эхо донесет искаженные расстоянием мольбы и заклинания.

Ты — человек отважный, и решения, принимаемые тобой, настолько неожиданны и стремительны, что ни удивиться, ни испугаться за тебя не успеваешь. Едва затихает звучание твоего прежнего поступка, как ты поражаешь новым. Таково твое решение стать писательницей. Да поможет тебе Бог, девочка! Француженка, монашенка, католичка, писательница — все это в тебе одной — живой, страстной, бескомпромиссной — черт побери! — да это ведь такая адская смесь, что ни один читательский желудок ее не переварит. Однако, решимость праведна и оправдывает последствия. И пусть уберегет тебя Каллиопа от литературной критики — никогда не занимайся ею, не прислушивайся к ней, не принимай ее всерьез. Все разочарованные прозаики уходят в литературные критики. Что такое критика, тебе должно быть известно. Поскольку под рукой нет подходящего великого француза, сошлись на не менее великого англичанина — Свифта: "Ведь уже давно замечено, что истинный критик как древности, так и нового времени, подобно проститутке никогда не меняет своего звания и своей природы".

Искусство - единственная надежда на спасение от террора пошлости, и когда бб искусстве заходит речь, я начинаю проповедовать. Хочешь - слушай, хочешь - нет: перебирай четки и думай о воззвищном, пока пройдет этот кусок письма. Чтобы вырасти в национального писателя (тем более в писательницу, - женщины космополитки в своих основах), необходимо постигнуть стили и формы ведущих литератур мира, - русской, англоязычной, французской и японской. О трех последних пусть расскажут другие, о своей - последней меня; не всякое слово - есть откровение, но любое слово - из мыслей, поисков, догадок, узнаваний, открытий. Тем более в России, чья словесность, помимо законной блестительницы нравов, всегда занимала и занимает несвойственное другим народам место наук неразвитых и не могущих развиваться; литература у нас занимает место философии, истории, социологии. Так было с конца восемнадцатого столетия до конца девятнадцатого, с начала двадцатого до начала двадцать первого. Нагруженная сверх меры ответственностью за прошлое и еще большей ответственностью за будущее, словесность наша в каждом данном своем настоящем могла скользнуть в историку, иногда в торопливую, суетливую суматошность и злобу дня, иногда в этически бесстрастное и оттого еще более позорное спокойствие. По общему мнению - основа технологии обработки материала - реализм. Он означает, что любое правдивое литературное произведение, если оно рассчитывает пронзить века и поколения, чтобы попасть в анналы, должно обладать свойствами, якобы завоеванными литературой со времен Пушкина, - обладать демократизмом, историзмом, психологизмом, а с двадцатого века причисляется партийность, которая поглощает, усваивает и творчески перерабатывает все, что накоплено русской культурой за последние десять веков. По крайней мере, так у нас говорят уже много десятилетий. Тебе же я скажу по секрету: у нас в России литературы давным-давно нет. Конечно, были и будут грамотные люди, рассказывающие какие-то истории, в меру правдивые и поучительные, описывают какие-то в меру достоверные события, все это переходит с типографских станков на бумагу, потом, возможно, попадает к читателю. И - все, *un fait accompli*, на этом всякая литература заканчивается. Читатель прочитывает, тем более, что это не трудно - не надо думать, и остается таким же мерзавцем, каким был или таким же добряком. Самое забавное то, что те, кто мастерит литературу, верят в нее, и те, кто потребляет, тоже верят. И те, и другие врут взаимно. За

деньги. И год от года цены на ложь растут, потому что она становится красочней, лукавей, энергичнее. Настолько, что ложь иногда сама принимает себя за правду. Честных писателей у нас не знает или мало знает. Есть писатели приспособившиеся. Главное - совместить свою совесть (или то, что от нее осталось) с государственным стандартом на нее.

Какой следует быть совести писателя? Спортивного покроя и современного силуэта. Ничего в ней не должно причинять неудобства, чтобы нигде не тянуло, не морщило, не жало, не давило. Чтобы удобно было в любую погоду, при любой перемене политического климата. Для них никаких метаморфоз нет, с такой формой совести они и рождаются. Для других процесс этот болезнен, но терпим и обнадеживает, поскольку сулит извечные блага. Для третьих этот процесс невозможен по самой их природе, но этих третьих - единицы. Время от времени совесть писателя проходит переаттестацию на верноподданчество. Писатель, успешно прошедший подобную процедуру, может надеяться на дополнительные тиражи, а иногда на творческий вечер в главном зале страны, или на орден, или даже на полное собрание бредовых сочинений. Экзамен на верноподданчество может состояться в трех ситуациях: спонтанно, когда подворачивается случай высказаться по поводу государственного юбилея; намеренно, когда пишутся статьи, или стихи, или рассказы по поводу престольных праздников; под давлением, когда писателя требуют осудить очередного ренегата, отщепенца, выродка, предателя. Которых появляется все больше и больше. Это ли ты возьмешь из современной литературы? В ней - лица, личины, но не личности. Все жители у нас делятся на три категории: те, кому доверяют и не проверяют; те, кому доверяют, но проверяют; те, кому не доверяют и проверяют.

А ведь литература - любая, во всякие времена - это зеркало жизни (об этом знал еще твой земляк Анри Бейль), и жизнь нищая, уродливая, бездуховная отливается в подобные ей формы. Вот почему стоит кому-нибудь из самых преданных, маститых, заслуженных расслабиться до либерализма, намекнуть - не задевая сильных мира - на кое- какие недостатки, слегка пофантазировать в критической тональности, как вся наша интеллигенция - которой доверяют и постоянно проверяют - вся интеллигенция истекает оргазмом от счастья. Ей мнится, что вот-вот, буквально на ближайшей неделе, согласно постановлению правительства, начнется царство справедливости.

Вот так, девочка. Последним фейерверком русская душа рассыпалась в девятнадцатом веке, и после этого мрак показался еще глубже, гуще, глупше. И если ты хочешь схватить мгновенным пониманием тоску наших времен, и неукротимую надежду наших пространств, то тебе достаточно десять имен: А.Пушкин - бунтарь по духу и коварный искуситель стиля; Ф.Достоевский, о котором твой буржуазный Запад наслышан от Кафки; разумеется, Л.Толстой, хотя и Достоевский и Толстой - безобразные стилисты и не годятся для уяснения красоты и благозвучия русской речи; Н.Гоголь с его немыслимым фантастическим слиянием милого и страшного; конечно, А.Чехов, пытавшийся бодрым голосом разогнать глухоту безвременья и крушения надежд, наступающую всякий раз в конце века на протяжении минувших пяти столетий; А.Блок - божественный поэт, но непереводимый, как Божий глас, на другие языки, его и по-русски читают мало и еще меньше число людей понимают, особенно те, кто о нем пишет; И.Лесков - гениальный иллюстратор закоулочной, темной, невнятной и жуткой, как предутренний омут, философии русской извилистой мысли; А.Ремизов - ведун природы и тайных пластов земли; М.Булгаков, неосознанный масон, духовный племянник Гоголя; А.Платонов - редкой оригинальности и откровенной беззащитности. И - все. На пальцах обеих рук числится русская литература, вне которой - переменчивой густотой и плавущих оттенков, от гнильно-желтого до кровяно-коричневого - благоденствующая пошлость.

Такова, милая Николетта, программа для тебя: за немногими исключениями, книги этих писателей ты найдешь по-французски и - с Егем! начинай параллельное чтение подлинника и перевода. Далее: запасай впрок устойчивые идиомы русского языка и англо-французские эквиваленты. Этих *idioms* понадобится на первых порах две-три сотни, чтобы из них три-четыре штуки использовать в небольшом, в пять-восемь тысяч слов, рассказе. *Idioms* - это багатство любого языка, но не злоупотребляй ими, иначе получится не мадам Шаброль, а вконец испорченный М.Горький.

Как только (или одновременно) эта работа будет проделана, тотчас приступай за описание коротких мизансцен с минимальным количеством лиц и максимальной украшенностью речи. Само собой разумеется, стремление к украшенности должно преодолеть несколько препятствий: опасность вычурности, манерности, опасность уйти далеко от предмета, оторвать свойство от вещи, его носителя, опасу-

ность наскучить читателю. И - главное: ищи в вещах, событиях и людях их внутреннее состояние, содержание и возможности.

Дерзай, послушница.

Припадаю к следам твоих милых ног и целую эфир, колеблемый твоим плейфом. Твой верный Старик.

## 5

Пожалуй, у меня одного не было врагов в этом "сборище новеллистов", как назвал конференцию Кастанье в своем муточном, с изрядной долей злости, стихотворном послании, где заключительная строфа в подстрочнике утверждала: "только сборище сумрачных новеллистов надеется улучшить мир пошлыми аляповатыми рассказами"; поэтому - что стар и нет врагов - выбрали меня в председатели, а в помощники мне единогласно избрали Отто Шимека, праживеньского фантаста, чехо-немца с еврейскими замашками, человека подвижного, ироничного, никого и ничего не принимавшего всерьез, и в первую очередь самого себя, и это обстоятельство было верной гарантией, что конференция не погрязнет в докладах, реферахах и коллективных сновидных рефлексиях, как обычно случается с такого рода интеллектуальными слечками, которые ничто иное, как ритуал, клубные встречи профессионалов, - а, напротив, при общих усилиях и единодушном энтузиазме, пройдет легко, изящно, по-балетному: из глубины сцены, от задника, где натуральным маслом наживолисана естественная жизнь, - отаким антракта к проециениуму, к гулу голосов, ко всеобщему "ах!", к штурму аплодисментов, к запоздалым рецензиям о "новациях в прозе маститых", "революции в жанре новеллы" - эта конференция начнется, как только струящиеся ноги Надин - я ничего не замечаю кроме этого - пересекут зал от двери в другом конце к первому ряду, и я возьму в руки старый бронзовый колокол и призову к тишине; как только Шимек спрячет после улыбки тридцать пластмассовых зубов, а он улыбается, усаживаясь рядом со мной, и я вспоминаю, что у него около полусотни детей, внуков, правнуку и все сплошь Шимеки, хотя злые языки и утверждали, что уж на своей-то ниве не он один поработал, пока без конца сублимировался в творчество, улыбается и шепчет по-русски: "тесна пятимиллиардная планета, и с вами, старче, мы встречались где-то", и я машинально отвечаю: "неужели Шимек Отто снова выдумает что-то?",

и слежу за Надин, она еще идет, и на ней волнуется блестками зеленое платье, и я негодую, что мир населен слепцами, что никто — кроме Шимека — он замкнул свою пластмассу на тонкие губы — не видит Надин, только я вспоминаю все, что под струящимся плащем, и дрожит во мне задор воспоминания, и я жалею, что нет в этом зале у меня ни одного врага, кроме меня самого.

Я поднимаю колокольчик и трясу его как пузырек с микстурой — вило брякает язычок, потом неожиданно звонко, по-человечьи, отзывается потемневшая орнаментированная бронза; с колоколом в руках я поднимаюсь и смотрю в зал, там много знакомых, а еще больше незнакомых — молодых лиц; пока ты ковырялся в своем огороде — ты забыл полить тульпаны, которые через двадцать лет завянут, когда придет Натали, — уже подросли иные всходы, все эти от самого рождения мастеровитые литераторы с гулкими голосами, вместительными легкими, здоровыми сердцами и крепкими желудками, и твоя боевая шага, с которой ты, отчаянно размахивая, бросался на чудища своего — не их! — времени, им кажется старой зубочисткой; много знакомых лиц — Курт Бенингер, пишется с двумя "и", не раз поражавший интеллектуалов способностью с помощью примитива калечить логику искусства, да и по внешности Курта было что-то питекантропическое (питекантроп — это кличка первого математика древности: он умел считать до пяти, левой рукой загибая пальцы на правой); Йозеф Рефен — это же надо! стать писателем с такой фамилией — сорок лет доддонивший любимый мотивчик с разделенным ложе и, надо признать, добившийся успеха: университетская молодежь делит ложе по-рефрену; томный эстет Збигнев Крышевский, по-польски он пишет с французским пренонсом, говорят, он чуть не до смерти уморил балальнами метафорами красавицу-жену Клару Стычек: бедняшка в Гданьске бросилась с причала в море, но волны вынесли ее на британские берега, где она через два года родила тройню от непорочного зачатия после съемок фильма "Ричард 3-й"; Фриц Дорренорт — "серый" имор, Нобелевская премия за гуманизм и всестороннее отражение в литературе облика европейца, может быть, не читал, по-моему, беседовать с Фрицем намного увлекательнее, чем разбирать его невнятности — грузный, с толстой шеей, толстыми руками и толстой одышкой во славу цюрихских пивных; вечно настороженный и одновременно открытый всему Гроссер; старый и желчный, недовольный собой и миром, постоянно дремлющий Эрвин — вся эта вдребезги разбитая

гвардия рядовых искусства, в ком еще сохранились хоть какие-то понятия о достоинстве и чести своего ремесла; еще около двадцати малознакомых лиц - я, как охотник, взглядел осторожно подирадываясь от задних рядов к первому ряду, чтобы краснох увидеть лицо Надин, это ненавистное мне выражениеластной покорности на лице, и улыбку, значение которой непрерывно меняется, пока Кастальс, сидящий за ней, нагнулся к ее уху так, что касается длинным носом ее волос, капитановых и с проседью, и, улыбаясь, напевает про меня гадости - я еще раз встремываю колокольчик и с шумом ставлю его на светло-голубой бархат стола.

- Господа! - говорю я, примеряя голос к пространству зала - Дамы и господа! По праву председателя настоящей встречи рассказчиков я хотел бы уронить в ваши уши несколько слов об общих целях, собравших нас сегодня здесь.

Я говорил по-французски, и мое жеманное произношение могло бы до колик рассмешить какого-нибудь балагана, *bouffon*, гораздо лучше у меня вытанцовывался *mots obscènes*, но поскольку мой лучший доклад был посвящен творчеству Лака Шарпантье, я продолжал по-французски *babiller*:

- Литература - это укремленная сплетня о людях, которых никогда не было. Не мне доказывать вам убедительность такого толкования нашего ремесла. За годы работы мы выпустили сотни тысяч призраков в мир реальных людей, и эти тени волей и яростью бессмертного искусства обретали при рождении ум, и душу, характер живой плоти. Литературных героев, чьими родителями и пестунами мы являемся, этих героев в действительности не существует. Жизнь - это только замисел, в наших головах он становится вымыслом, а в сердцах читателей - домыслом. Поскольку ничего может возникнуть только из ничего, то я - по праву одного из старейшин цеха - осмелись утверждать, что нашей теперешней конференции не существует. Нас - нет, господа, и все, о чем сегодня и в последующие дни станем говорить, все это - блеф, фикция, мечта, мираж, грэза, бред, галлюцинация, фантазия, сон, наконец. И какой бы копиадной или прекрасной ни была эта дрема, мы сделаем все возможное, чтобы как можно дольше не просыпаться. Сон - причудлив, он не зависит от чьей-то отдельной воли и, если вы не возражаете, мы дадим высказаться всем, кто поможет нам осветить смутную дремоту ускользающего бытия, мы выслушаем самые спорные мнения об источниках, формах, целях фантастического рассказа, об алхимии и магии нашей профессии.

Слушали коллеги по-разному: старики, знаяшие, какие переливчатые павлиньи хвости я мог распускать, слушали в подуха и с усмешкой, уверенные, что в кулаурах или за карточным столиком, в трактире или бардаке я намного забавнее; молодые, для которых не только их литературная работа, но и сама жизнь была в новинку, внимали с отвисшими подбородками, как деревенская дура первому своему соблазнителю, или как туземец первому в своей жизни проповеднику, горячо веря, что вечное спасение у меня за пазухой и после проповеди каждый получит по кусочку.

— Поскольку инициаторам нашей встречи, — продолжал я, — Кастьлью, Эрвину и Гроссегеру удалось не допустить сюда ни одного лгуня-журналиста, нахала-телеоператора или дурака-критика, которые, как жуки, точат великое древо искусства, я полагаю, что все мы, сномидцы и сноторы, можем высказаться свободной и раскованно, как на исповеди перед совестью, если мы, конечно, не забыли совесть дома. На этот случай я готов исполнить роль вашей забытой совести и вынести требуемый вердикт. Если я правильно понял, сегодня здесь собрались люди, исповедующие ортодоксальную методику, и несколько расколов. Здесь присутствуют фантасты, сирреалисты, бытовики, субъективисты, чистые и помесные с прагматистами, и многие другие искатели путей к самим себе. Все мы, надеюсь, люди с горячей кровью, готовые жертвовать своими перьями для доказательства сомнительной ценности мелочных литературных принципов. Это — так, господа. Ведь нет на свете более непризного и ничтожного, и жалкого в своих претензиях существа, чем профессиональный литератор. Но я полагаю, несмотря на это, что в конце концов нас всех объединит общая угроза, единая опасность, могущая уничтожить весь опыт будущей литературы и культуры — опасность наступления материального мира на мир духовный, угроза раскола между людьми, нарастание жестокости в человеческих отношениях. Когда ложь и обман становятся нормой, истину и правду объявиют вне закона и начинают преследовать, изгонять из общества, где утверждается сильные, самодовольные, тупые и наглые потребители. В таком случае можно только воскликнуть: дай мне, Господи, счастье и си-лу стать изгнаниником!

Я помолчал, выдерживая драматическую паузу, и закончил:

— Благодарю вас за внимание, господа, и разрешите сопредсе-дателю Отто Шимеку познакомить вас с предстоящей программой.

Я сел, а Шимек встал, узкоплечий, нескладный — из-за сади росли седые жесткие волоски — Шимек в лосниящихся брюках, таких заношенных, что казалось, будто он в них родился и с тех пор не вытирал — не от бедности, хотя он постоянно жаловался на житейские трудности, на невозможность прокормить большую семью, а из безразличия к форме, он всю жизнь гонялся за содержанием и это была как игра в прятки — и начал излагать программу конференции; я смотрел в зал: Фриц дремал, полуприкрытые выпуклые глаза пухлыми веками; Збигнев Крынинский щелстал бумагами — в последнее время ему не везло: по данным ГЛА индекс его популярности упал на восемь пунктов, издатели потеряли интерес к рассказам Збигнева, и теперь он рассчитывал на успех своего выступления об универсальной схеме современного рассказа, так оно и произошло; Гроссер упорно улыбался: он наслаждался, слушая комарный французский Шимека в синхронном переводе на немецкий — Гроссер говорил, что если и есть на свете что-то ужасное, так это немецкий перевод с французского, но, по-моему, перевод с русского еще хуже; Фрэнк что-то рисовал в блокноте, скорее, карикатуры на остальных; я смотрел в зал и видел глаза Надин, устремленные на меня, и вспоминал предстоящий вечер и весь завтрашний день, и послезавтрашний варварчакий пассаж Кастьельса, и свой доклад о Жаке Шарлантье, и сладкую боль расставания со всем этим, и это не было повторным переключением — короткая остановка, пересыпка в таком долгом пути назад...

## 6

*Bienaimé*, здравствуй! Представь — те шесть неделеk, что я тебе не писала, работала я, как у вас говорят, по-черному, пахала как негр. Несмотря на разавистину уродину Марго, которая не переставая шпионит за мной, — Бильберу удалось достичь мне много книг, русских словарей и антологий, за которыми я свои глаза и терзала. Все делаю, как ты велел, но как только пытаюсь по-русски описать нашу первую встречу — надо же с чего-то начать? — так и расплакалась. Даже самой смешно стало: представляю себе хорошее и плачу от горечи. Вдруг смертельно захотелось еще раз увидеть тебя, и так грустно, так грустно, так *je suis triste!*. Потом все-таки взяла тебя в руки, но описание этого не подвело — мне хотелось одновременно увидеть тебя своими глазами, а себя — твоими.

Наконец как будто нашла выход – отражение в отражении, но другая трудность – я не ощущаю вкуса, сочности, мягкости русской речи. В чем ее лучшее достоинство? Легкость, воздушность, стремительное остроумие? Это, скорее, качество французского. Точность, выверенность, сопряженность формы и смысла? Это присуще английскому. Певучее благозвучие? Это хорошо в итальянском. А что же в вашем, русском? Только не ссылься на Ломоносова, я его не понимаю, пыталась читать его стихи в антологии и едва-едва голову не сломала. Но-моему, скорее прав ваш Тургенев, и русский язык – вор, и берет из других языков то, что плохо лежит. Но плохо кладут то, чем особенно не дорожат, или то, чем чаще пользуются. Вот ваш язык и хватает все в окруже – ловкость рук и никакого маненства. Скорее всего, я никогда не научусь по-настоящему писать по-русски, но это меня, как у вас говорят, особенно "не колышет", лишь бы это было достаточно хорошо, чтобы нам понимать друг друга. Пока меня больше мучают не слова, а фразы. Мысль не может явиться голой, это неприлично, она должна быть одета со вкусом, старанием, оригинально. Нужны не только основные, чистые тона, но и полутона, и четвертьтона, и оттенки. А отсюда все эти ужасные у вас надежи, придаточные и все остальное – леший их задери! Милый, вообрази, сколько во мне накальства, напористости. Не успела научиться два слова связать, а уже тебя наставляю и все новые, необиошенные навыки пытаюсь представить на твою судимость (или правосудие – как правильно?) Да поможет нам Бог обоим – тебе в твоем терпении, мне – в моем бесстрашии, потому что, как мне кажется, я делаю заметные успехи. И еще три новости: во-первых, в малей обидели – с ведома и старания моего папаши – устроили лазарет для сексуальных психопаток, и эта стервоточина Марго назначила меня читать несчастным душеспасительные беседы сразу после врачебных процедур – вообрази меня в этой роли (между прочим, выгляжу я – как ты говорил – "на мордашку и на все остальное весьма и весьма"); во-вторых, оказывается, моя сестра-кузина все-таки выходит замуж за своего томного красавца; они прикатили сообщить мне об этом, приехали в роскошном – цвета вяленой макрели – лимузине; сестре я сказала по-русски: "Ну и дурища ты, он же глуп как валенок", но она ничего не поняла, а по-французски эта фраза не звучит, теряет "смак"; в-третьих, у нас в монастырском саду зацвели вишни, да так, что с ума сойти можно, и это очень грустно, такое цветение, – я сразу вспоминаю тебя, нас с тобой; в-четвертых, и это в-главных, да простит меня Господь, я очень люблю тебя, а это так трудно. Вот, милый, и все пирожки с

"гвоздиками" (это выражение твое мне очень нравится, но не знаю, про цветы или про металлические стержни?) А теперь слушай, вникай и подмечай ошибки. Твоя Николетт.

"...В Париже шел снег, первый в предстоящую зиму и, по праву первого, особенно новый и торжественно белый. Он был крупный и влажно шелестел, как лепестки отцветающей яблони. Снега было много - как будто высоко в небе развязался огромный холщевый мешок со снегом, и снежинки, крупные, как доверие, и такие же своеольные, неподвластные ничему, кроме вселенского тяготения, заструились вниз, радуясь свободе и приплясывая в воздухе от холода.

Такого необыкновенного снега парижане, жившие на улице Святого Жака, не помнили со времен Плантагенетов, а если бы и помнили, то не сказали бы никому, потому что было чрезвычайно раннее утро и все спали, кроме Натали. Она только что вышла из дома, набросив шубку на плечи, и теперь стояла, подняв лицо к небу и ловя губами крупные жгучие снежинки. Еще с вечера она решила, что утром, в день своего рождения, она выйдет на улицу, и первый мужчина, который ей улыбнется, будет ее почетным гостем. Кем бы он не был - кинозвездой, полицейским или приподнявшимся сутенером.

Но, как это бывает, старая улица была пустынна, никто не проходил мимо и тем более не улыбался, поэтому Натали просто так стояла, оборотив лицо к небу, и считала снежинки, падавшие на губы, - снежинок должно быть столько, какой по счету день рождения, и с последней снежинкой - решила Натали - она уходит в дом и, - несмотря на раннее утро - начинает по телефону разыскивать Жильбера, разыскивать, даже если он дрыхнет в объятиях Мари или подмышкой Клод, которая даже в постели длиннее Жильбера, и заставляет весь день развлекать себя.

Жильбер очень удобный друг, он ко всему готов, как уголовная полиция или как пожарная команда, и с ним можно делать что угодно, несмотря на его толщину и шумную веселость. Своим подружкам он объясняет: Натали - это неодолимая стихия, у нее собственные законы, и сопротивляться им смешно и нелепо.

Последнюю снежинку Натали видит издалека, изнисока, - снежинка делает несколько рыскающих движений и плоско опускается на губы. "Последний поцелуй", - думает Натали, и в этот момент рядом упруго останавливается автомобиль.

Такси. Выходит шофер и, не глядя на девушки, откладывает капот и наполовину исчезает внутри. Видны натянутые лоснящиеся брикеты.

"Выходи", — мысленно приказывает Натали, теперь уже совсем уверенная, что в машине сидит мужчина.

Действительно, дверца машины откладывается, выходит мужчина среднего роста в темном плаще, расправляет плечи, смотрит на Натали и улыбается.

— Бонкур, мадемузель, — говорит он, старательно произнося каждое слово, отчего звуки кажутся твердыми на слух.

— Бонкур, месье, — отвечает Натали голосом капитанского ангела, делает шаг вперед и берет мужчину за руку, — его рука, сухая и теплая, пытается высвободиться из пальцев Натали. — Сегодня вы мой гость, месье. Сопротивляться бесполезно и небезопасно. Расплатитесь с шофером и идемте.

— Ваш багаж, месье, — из-под калюта машины послышался сонный голос шофера.

— Мой чемодан, мадемузель. Любимый галстук и тапочки.

— Так возьмите скорее ваш чемодан, — приказала Натали.

Когда они поднимались по широкой с овальными площадками лестнице на третий этаж, никто не попался им навстречу, только у квартиры супругов Роже сидела большая дымчатая кошка с узким оранжевым ошейником и сладко жмурилась. Натали молчала, молчал и мужчина, по-прежнему ведомый за руку. Натали потянула незапертую дверь и под локоть слегка подтолкнула гостя, сделавшего последнюю попытку ускользнуть.

— После вас, мадемузель.

Потом он покорно вошел следом, поставил чемодан у ног и с вопросительной улыбкой взглянул на Натали. Только теперь она рассмотрела его в подробностях. Среднего роста и среднего возраста или чуть старше, когда все самые неотложные проблемы уже разрешены, когда все самые неожиданные сердечные бури уже миновали, и все это отражается в морщинах у глаз, в седине на висках и в спокойном взгляде, человек этот не вызывал ни мгновенной привязи, ни столь же мгновенной неприязни, это был человек, которого, — если у вас были какие-нибудь вопросы — можно было спросить в полной уверенности, что получите скучноватый, пресный, но зато нелукавый, точный, обстоятельный ответ.

Так думала Натали, рассматривая широкие черные брови, несущие спокойные светлые глаза, аскетического склада лицо, в котором самым примечательным был, пожалуй, квадратный подбородок, указывающий если не на целеустремленность натуры, то хотя бы на упрямство характера, что, однако, скрадывалось ироническим рисунком губ, — серый свитер, прорезиненный плащ вместо пальто — по такой погоде — и ботинки на каучуковой подошве.

— Я с модой почти не встречаюсь. Нас не представили друг другу, — улыбнулся он Натали, когда она кончила его рассматривать.

— Снимите пальто и проходите, — сказала она, сбрасывая нубку на кресло у зеркала.

Мужчина неторопливо расстегнул плащ, повесил его на тяжелую темную бронзовую вешалку, по которой снизу взлетали разовые голые амурчики, размахивая ненатурально маленькими луками и стрелами, — повесил шляпу. Тускло блеснула седина.

Повинувшись скромному жесту и молчаливой ободряющей улыбке Натали, гость прошел в гостиную, мельком, прицельно ухватил взглядом картины, пианино, камин, безделушки, — сел в низкое кресло, обхватил пальцами подлокотники.

— Разрешите вас спросить, мадемуазель?

— Нет, я все объясню сама, — Натали была настроена решительно-весело и чувствовала, что все в ней улыбается, и от этого ей стало еще веселее, и даже двигалась она по комнате, едва-едва притаптывая. — Сегодня день моего рождения, а вчера я решила, что моим главным гостем будет любой, первый встреченный и незнакомый мужчина, который мне улыбнется. Любой, все равно — полицейский, сутенер, или гангстер.

— Благодарю за доверие, мадемуазель.

— Пожалуйста, месье. Вам придется сегодня весь день провести со мной, даже если вы очень спешите и у вас неотложные дела.

— Мадемуазель, я вас поздравляю — храни Вас Господь — со всей сердечностью, на которую я способен, но, право, я в затруднении.

— Оставьте ваши затруднения на завтра.

— Завтра их будет больше, мадемуазель.

— Ничем не могу вам помочь, — улыбнулась Натали лукаво-грустной и оттого — как она знала — неотразимой улыбкой. — Сегодня — мой день и, значит, миру диктует моя воля, и ничья другая.

Гость с улыбкой поднял руки.

- Сдаюсь, мадемузель. Моя стойкость капитулирует перед красотой и решимостью.

- Прекрасно, давайте знакомиться. Натали Шаброль, студентка медицины.

Гость встал, щелкнул каблуками на манер отставного сержанта и назвался.

- Вы не француз. У вас комарное произношение и вы слишком старательно произносите все звуки.

- Да, мадемузель, я русский.

- Эмигрант?

- Нет, натуральный русский из России. В Париже я впервые, проездом на Канарские острова или куда-нибудь в ту же сторону. И, как говорят у нас, - попал с корабля на бал.

- Садитесь, - приказала Натали, - и рассказывайте о себе. Как вас лучше называть - по имени или фамилии?

- Как вам удобнее, мадемузель Натали, но чаще и охотнее я откликаюсь на кличку "старик".

- Вы террорист, месье?

- Увы, нет.

Халь, - вздохнула Натали, - мне казалось, что в каждом русском живет непризнанный террорист, который только и ждет случая вырваться на волю и огнем утверждать свою философию.

- У вас устаревшая информация, мадемузель. Русский террорист давно уже дома не живет, а воняет на стороне за чужую философию. Возможно, во мне он тоже сидел, но я его обнаружил и выгнал, потому что у меня нет политических врагов.

- Хотите, я вам их одолжу? У меня их много.

- Боже!, такая девушка и вдруг - какая-то политика! И как же вы обходитесь со своими врагами, не даете им близе со сливками?

- Я их презираю и не замечаю.

- Прекрасно, давайте презирать их вместе.

- Рассказывайте, что было дальше. Вы женаты? Все мужчины, когда знакомятся, клянутся, что пострадали от несчастной любви и поэтому холосты. Так вы женаты?

- И да, и нет. По документам я женат, но моя жена ушла от меня к любовнику. Навсегда. Такое иногда у нас случается.

- Вот как? - сказала Натали. - Это интересно. Он моложе, богаче, красивее, умнее?

- Не могу сказать. Скорее потому, что у меня тяжелый характер.

- Что значит "тяжелый характер"? Вы мрачны большую часть суток? Вы мелочны, завистливы, раздражительны, ревнивы?

- Скорее нет, чем да, - улыбнулся гость. - О себе трудно судить.

- Почему? - настаивала Натали. - Себя вы знаете лучше, чем вас знают другие.

- Скромность и стыд не позволяют говорить о себе хорошее.

- Что за беда! - протянула Натали. - Знаете, как у вас говорят, - "стыд не дым, на вороту не виснет".

Последние слова она произнесла по-русски и победно посмотрела на него.

- У нас говорят иначе, - ответил он. - Брань не грязь, глаза не ест.

- Чем вы занимаетесь? - снова спросила Натали, решившая во что бы то ни стало "вывернуть наизнанку" этого иностранца, которому хотелось задавать вопросы.

- Мой бог, сколько в вас энергии! - воскликнул он. - Я не удивлюсь, если вы окажетесь еще и комиссаром полиции. Простите, мадемуазель, но я сам привык распрашивывать, чем отвечать на вопросы.

Натали подерила ему один из своих испытанных взглядов, - ясный, проникновенный, всезнающий, и улыбку - непобедимую, всепроникающую, - взгляд и улыбка поплыли, покачиваясь, от лица к лицу, и гость поспешил ответить:

- Я сочиняю всякие небылицы.

- Так вы писатель? Впервые вижу живого писателя.

- А мертвые они убедительнее?

- Нет, - сказала Натали, - там, на улице, я приняла вас за музыканта. Вы звучали торжественно и хаотично.

- Увы, мадемуазель, это распространенная ошибка. Многие принимают меня за музыканта. Или за человека, которого давно разыскивает Интерпол. В Вене меня, например, задержали на полтора часа, приняли за одного из тех сумасшедших, которые захватывают самолеты. А в больших магазинах за мной постоянно увязывается служитель, чтобы я чего-нибудь не сламзил. А затем люди бывают разочарованы, когда оказывается, что я - это я. Горько быть не тем, за кого тебя принимают. Сам себе кажешься обманщиком.

— Не огорчайтесь, Старик, — сказала Натали, решив, что на откровенность следует отвечать искренностью и доверием. — У вас в России много писателей?

— Почти все. Толпы, косяки, стаи, стада. Никто толком их не считает. Короче говоря, — нельзя втиснуться в автобус, чтобы не попасть локтем в писателя. А они у нас — мужики общительные, говорливые. Такого начально заденешь, и он начинает публике рассказывать, что он думает о вашей женности, растительных способностях, душевном здоровье. Вот почему дома я хожу пленком. Я слышал, что там было всего два писателя и те убили друг друга на дуэли. Поскорились из-за сканта. Вы не слышали об этом?

— Слышала от разносчика перхоти. Несчастных похоронили на кладбище Сан-Квентинского монастыря. Третье надгробие справа.

— Да, — вздохнул Старик, сохранив на лице высокую печаль, которая только что была на лице Натали. — Спасное у нас ремесло. И никакой охраны. Представляете, в прошлом месяце у меня прямо со стола украло восемнадцать свежих метафор, двадцать девять сочных эпитетов, семь совершенно новых анафор, одну маленькую, но чрезвычайно милую литоту, два добротных периода, не считая остальных мелочей. Завернули в салфетку из-под ваз с цветами, испачкали, вышили крестиками и ноликами, и унесли. Разумеется, я заявил в милицию, представил подробный перечень украденного, но куда там? И тогда я сказал себе: шлепай, дружище, по холодку и подальше, пока тебя не ободрали, как линку... И вот я здесь. Что мне делать, мадемузель, приказываете. Поскольку я пленен на сутки, вы можете использовать меня как вам необходимо. Хоть на расстопку вашего буржуазного камина. Если я не отсырел от такой погоды.

— Странные вы, русские, — сказала Натали задумчиво, — нет в вас середины. Золотой середины. Вы или крайне серьезны во всем или ничего всерьез не принимаете.

В гостиную неслышно, торжественно и благочестиво, как магдалина на тайную заутреню, вошла мадам Шаброль, остановилась в дверях и воспрепятственно взглянула сначала на дочь, затем на гостя.

Он встал неуверенно, как понтий перед пилатом, приветственно склонил голову и негромко, но звонко произнес:

— Бонкур, мадам...

"...Под утро пошел снег, и тогда я уснула чисто и легко, как давно уже не засыпала. Всю ночь не удавалось уснуть, я таблетки я выбросила еще позавчера, когда врач предупредил меня, что от препаратов может развиться постклиматический невроз и что если я буду послушна, он разрешит мне кое-какие излишества в пище и напитках, прибавил он с сальной улыбкой, этот апостол однополой любви, да если бы он знал, какие излишества мне цепеподносит Антуан, то забросил бы свои медицинские справочники и пустился в разгул... Не сплю я, конечно, из-за Антуана, я всегда плохо сплю, когда Антуан отправляется в очередную командировку и заранее, с серьезным деловитым видом сообщает об этом, не догадываясь, что я знаю о его таланте сочетать немного полезного со многим приятным, что командировка всегда бывает именно туда, куда хочет ехать его любовница, эта психопатка Сесиль, которая все равно останется ни с чем, потому что никогда не сможет быть такой разнообразной и насыщенной в любви, какой была я и какой меня, конечно, Антуан помнит и, по некоторым мелким признакам я понимаю, что Сесиль ему начинает надоедать и что скоро наши роли переменятся и он будет от нее возвращаться как от жены ко мне, кое-как к любовнице. Уж я-то знаю мужчин так хорошо, как свое тело, уже, правда, несколько увядшее, но еще достаточно гибкое, сильное и жаркое, способное удовлетворить даже тонкий, изысканный вкус, я знаю, у меня были мужчины, да какие, не чета нынешним худосочным соплякам, которые иначе и не могут раскрыть себя, как только порнографией... Нет, мой Антуан не таков. Наш Антуан. Мой и Сесили. Антуан слишком прост, чтобы по достоинству оценить безвкусие любовницы. И когда я почувствовала, что она появилась у Антуана, я не стала их выслеживать, это было бы ислепо - заставлять Антуана хитрить, изворачиваться, у него и на работе достаточно хлопот, нет, я просто узнала, где эта Сесиль одевается, потом коротко познакомилась с портнихой, которая шила на Сесиль, портниха оказалась весьма образительной особой, к тому же выяснилось, что мы - по родителям - из соседних деревень и дальние родственники, и вот здесь началось самое интересное: мы вдвоем разрабатывали модели и покрои для Сесиль, сама она, конечно, не знала об этом, зато я очень хорошо знала Антуана, нашего Антуана, с его талантом к гармонии и красоте, и когда нам с портнихой удавалось незаметно, но основательно испортить фасон для Сесили, или рассогласовать гармонию цвета, или вставить какую-либо уродливую деталь, - мне доставляло это не просто удовлетворение насыщенной месяи, нет, это приноси-

ло ощущение огромного превосходства, почти счастья. Бедный наш Антуан, как он мучился от безвкусия Сесиль... О! то была война не нервов, а битва умов! Врага надо хорошо знать, особенно если враг — любовница мужа, и я пришлась изучать соперницу. У нее были немного вульгарные манеры, пошлые движения, и я научилась их копировать и очень удачно использовала при Антуане, так что он мордился от неприязни. Я почти наизусть выучила фигуру Сесиль, ее тело, бедра, живот, грудь, ноги, руки, и предлагала Антуану такую форму любви, на которую, — я была уверена, — Сесиль оказалась бы неспособна. О! то была не только битва умов, то было соперничество талантов! Если бы эта дурочка Сесиль выбрала в любовники не нашего Антуана, да пришла бы ко мне за советом и помощью! о! я сделала бы из нее такую фею, против которой не устоял бы и министр финансов, у которого, говорят, в жилах не кровь, а чернила. Но эта дурочка предпочла нашего Антуана и она, между прочим, права, я сама предпочитаю Антуана, она выбрала моего мужа и — подписала себе приговор... Формулу последующих событий я предвидела: через год после того, как я начну действовать, Антуан оставит Сесиль и еще большие привяжется ко мне; Сесиль обрушит на него упреки, что он охладел к ней, и еще больше оттолкнет от себя; затем в ней всколыхнется природная склонность и раздражительность, а хуже этого для мужчин ничего не бывает, и тогда наступит скандальный и справедливый финал: их роман умрет в черновиках, а Сесиль вместо того, чтобы возвыситься над собой, спустится ниже себя, утратив уверенность и инстинкт счастья и, если ей и потом не повезет и она не поумнеет после поражения, ей ничего иного не останется, как стать обыкновенной потаскухой. Бедная Сесиль! Кроме молодости и свежей кожи надо что-то еще иметь за душой...

А сегодня вечером, нет, уже вчера вечером позвонил из Милана Антуан, и по его тону, голосу, разговору я поняла, что Сесиль ему уже осточертела и что моя победа близка.

Мы поболтали по телефону. Я спросила, какая там погода, как идут переговоры с фирмой, видел ли он боевик Чинизелли и потом, будто хотели, спросила, не знает ли он, куда девалась Сесиль, что-то я давное ее не встречал.

Наш Антуан ~~также~~ сказал, что понятия не имеет, куда запропастилась Сесиль, хотя я отлично слышала, что Сесиль стоит рядом с ним,

старается не дышать и трется о плечо своей грудью, или что там у нее вместо этого. Потом я сказал, что когда он вернется, надо непременно пригласить к нам Сесиль на какой-нибудь вечер, что женщина с такой яркостью, оригинальностью, с такой бездной вкуса во всем, - украсит наш вечер. Я даже как будто видела лицо Антуана, оно все больше хмурилось, чем более расчетливо и расточительно я расхваливала его подружку.

Я повесила трубку в полной уверенности, что через день мой дурачок прискакет. От этого, от ощущения близкой, зримой и полной победы над соперницей я долго не могла уснуть.

А под утро пошел снег, такой крупный, как лепестки яблонь в доме отца, такой белый, как мое свадебное платье много лет тому назад. И тогда я уснула. Но не надолго: мне снилось, будто я зашла в кабинет врача и застала там врача и Антуана, занятых нехорошим делом; помогал им мой духовник и при этом повторял: "суккуб и никуб". И еще: "*In inferno nulla est redemptio*". Это было так смешно и гадко смотреть на всех троих, что я проснулась и услышала, как Натали разговаривает в гостиной с кем-то, чей голос, низкий и звучный, был мне совершенно не знаком. Я поняла, что Натали исполнила свое намерение – пригласить на вечеринку в качестве почетного гостя первого мужчину, которого она встретит на улице. Видимо, встретила она идиота, потому что теперь вовсе учila его, как ему держаться и что говорить, когда появлялась я.

Наконец, я вошла в гостиную и увидела мужчину средних лет, среднего роста, средней наружности, ничем непримечательного и совсем не опасного – матери это сразу интуитивно чувствует, не опасного для будущности Натали. Она сказала:

– Мама, познакомься, это русский писатель. Он издается под псевдонимом "Старик".

Я посмотрела на русского, взгляд у него был ясный и одновременно острый и пытливый, совсем не дурацкий. Только бы он не начал высказывать свое остроумие, – русский юмор – это то, от чего сразу повышается кровяное давление и начинается сильнейшая мигрень.

Но так называемый старик смело дернул вниз головой и сказал:

– Бонкур, мадам...

"...А когда самолет приземлился в Бурже, я увидел, что идет снег. Склоны самолета было темно, метрах в пятидесяти большим кристаллом, скрепленным в бетон, светилось здание аэропорта, и шел снег, это было очень красиво, хотя снег казался неестественным, спиральным, - он падал медленно и торжественно и был крупным, точно ватным.

Я никогда прежде не летал ночью над Европой и никогда прежде не бывал в Париже, и не обнаружив той картины залитых огнями городов, всего того, что ожидалось воображением, был разочарован обыденностью, будничностью событий и людей, хотя, по правде сказать, ничего много ждать не приходилось: все мои праздники давно уже миновали.

Накануне всех пассажиров развлекла отерочка рейса, - в нем весь самолет и багаж пассажиров, - и это вызвало небольшие правовые осложнения, - были тщательно осмотрены: искали взрывчатку, будто бы заложенную в самолете; бомбы не нашли и тогда еще раз проверили паспорта пассажиров, - чиновник Интерпола внимательно рассматривал документы, разглядывал лица, сверялся с какой-то своей картотекой. Имодда, не ограничиваясь формальной проверкой, он задавал несколько посторонних незначительных вопросов, но по тому, как он выслушивал ответы и как при этом смотрел в глаза отвечавшему, я понял, что чиновник, несмотря на свое простецкое лицо и такие же простоватые, деревенские манеры, отнюдь не простачок, каким кажется, и с психологией общения знаком близко.

- Вы русский? - спросил он, разглядывая голограммическую карточку на моем паспорте.

- В документах сказано.

- В паспорте указывается гражданство, - мягко возразил чиновник, - а я спрашиваю о национальности.

- Да, я русский.

- Это хорошо, - зачем-то сказал он и мельком оглядел меня сар-à-rie. - Каким еще языком владеете, кроме русского?

- Немного английским и немного французским. И тем и другим достаточно плохо. Но вполне достаточно, чтобы познакомиться с законами о терроризме без помощи адвокатов.

Чиновник улыбнулся и посмотрел мне в глаза. "Ты совсем не тот, за кого себя выдаешь", - прочитал я в его взгляде. "Попробуйте доказать это", - прочел он в моем взгляде.

- Ну, хорошо, - сказал он. - С документами у вас все в порядке. Париж - ваша конечная цель?

- Конечные цели ведомы только Господу Богу, - улыбнулся я.
- Какую же религию вы исповедуете?
- Никакой в отдельности и несколько частями.
- Что вы выбираете из разных религий? - с интересом спросил чиновник Интерпола.

- Любовь к человеку, - произнес я с грустной торжественностью, расчитывая на эффект высокопарной сентиментальности.

- Разумеется, - грустно согласился чиновник. - Всегда больше всего крови проливают из любви к ближнему.

На том мы и расстались, очень довольные друг другом, но в Париж я прилетел с опозданием.

Снег все еще падал, неестественно крупный и в свете фонарей особенно блестящий, когда я подошел к стоянке. Свободных машин было много, но я почему-то выбрал эту, темно-фиолетовую, возможно, гармонирующую с моим настроением, ведь в конце концов, все наши поступки детерминированы гомеостазом.

- Свободны? - спросил я шоfera, чей локоть в кожаном рукаве куртки торчал из окна машины.

- Пожалуйста, месье, - ответил шоfer, показав в окно на кожаную кепку с огромным козырьком. - Фирма "Лябрюйер и сыновья" гарантирует скорость, безопасность и комфорт.

- Лябрюйер - это вы, - сказал я, усаживаясь, - а где сыновья?

- Сыновья спят дома, - ответил он, включив мотор и выруливая на автостраду. - Мишель - справа от окна, Аири - слева, а Робер - в спальню рядом с матерью.

- Маленький?

- Два месяца. Куда ехать, месье?

- Если у вас много бензина, тогда просто повозите меня по Парижу, где вам самим нравится. Я здесь впервые.

Мотор заглох на улице Святого Лака.

- Приехали, месье. Мой мул заупрямился, - сказал шоfer, открывая дверцу, чтобы выйти. - Говорил я своему механику, чтобы проводил эту чертову электронику, а у него, сопляка, только бабы на уме.

- Двухспальный ум у вашего механика.

Я вышел из машины покурить и увидел Натали. То есть Натали она оказалась потом, а сначала это была девушка в пятнистой тонкой и мягкой шубке. Девушка столла, закрыв глаза и подняв лицо к нему так, что на лице падали снежинки, белые и крупные.

И подошел поближе, чтобы посмотреть, что же она делает, потому что это была первая парижанка, которую я видел.

- Двадцать четыре, - сказала девушка, открыв глаза, посмотрела на меня и я почувствовал, как дурацкая, обезьянья, - от уха до уха - улыбка растягивает мне щеки.

- Бонжур, месье, - сказала девушка. - Я вас ждала.

- Бонжур, мадемуазель, - ответил я, продолжая глупо улыбаться,

- Как видите, я приехал. Простите, что задержался в таком долгом пути...

## 7

В таком долгом пути назад я задержался и теперь могу не торопиться, перетасовывать события, встречи, разговоры, людей, лица - по своему усмотрению, ведь все это во мне и еще многое другое, и совсем не важно, что конференция движется, и Зигмунд Крышевский уже рисует на доске социографическую схему рассказа из расчета  $n=I$  персонажей и график личных связей героев на координатах родственных, дружеских или служебных отношений плюс сексуальная симпатия (на положительной оси) или антипатия (на отрицательной оси), и все делают вид, что странно заинтересованы, и даже Фриц очнулся от дремоты и смотрит из-под массивных век, и я знаю, что минут через десять он спросит, почему лан Крышевский при такой прекрасной теоретической подготовке печет такие дерзовые новеллы, и всякий миг, минувший и предстоящий уже со мной - как проклятие и спасение - и будет со мной и двадцать, и тридцать лет спустя, если удастся вернуться из возвращения, до того волшебного сентябрьского утра, самого, как дыхание Натали, которая еще не пришла, дыхание, смешанное с запахом цветов, их я собирался полить, да так и не успел, потому что река времени откатилась обратно, увлекая и меня, и всех, кто так или иначе со мной соприкасался, откатилась на много лет, чтобы недолго, прежде чем вновь набрать силу, остановиться в номере в "Грин Стар", когда открылась дверь - я как раз сидел кресле перед экраном и раскручивал ролик с классиками позапрошлого века: страницы на экране таяли, утекали со скоростью моего чтения, и я только что нажал клавишу возврата, чтобы посмотреть добродушный стилистический кусок предыдущей страницы - у ме-

ия был Генри Торо - когда открылась дверь и вошла мадам Сидорова - я знал, что вечером этого дня она придет, все еще стройная, в светло-серых брюках (пожалуй, мода живет дольше своих носителей), в легком шерстяном свитере (груди под ним торчат как у кошки, но меня не проведешь, я знаю про фокусы косметики), на лице - улыбка: в губах, глазах, бровях - покорная улыбка, и подходит ко мне, будто мы расстались час назад, и подходит ко мне, сидящему, берет мою голову и целует макушку, при этом я упираюсь головой ей в живот, где-то выше пупка, и пытаюсь откинуть голову назад, а Надин еще раз целует меня в макушку, где волос от этого не прибавляется, и замечает:

- Время пропалывает и твой огород.

- Не я сажал, не име и беспокоиться, что там растет, - бормочу я, освобождаясь из ее рук.

Надин легко и ненадолго, как птица на ветку, спускается на подлокотник кресла, в котором я сижу, и говорит:

- Здравствуй, старина. Страшно рада тебя видеть.

Это ее манера разговора - "кошмарно переживаю", "дико хохотала" - усиливать слова метафорами, будто ей и без этого не поверят, - просто вид мимики в общении с другим полом, и с этим ничего не поделешь - это на молекулярно-генетическом уровне - она несет свои движения, повороты, замашки, как носят свой - и здесь я начинаю волноваться, потому что не ощущаю запах.

- Смертельно соскучилась по тебе, - опять говорит она, подвигая меня к разговору, к откровенности, осторожно, как на край пропасти, а внутренне суматошно мечусь, как пес: потерял запах.

- Спасибо, хорошо, - невнятно отвечаю я, хотя она и не спрашивает, как я поживаю, это она спрашивала тогда, в первый раз. Утрата запаха - сигнал опасности: живое должно пахнуть, это я знаю твердо, как то, что рядом со мной на подлокотнике кресла сидит моя бывшая жена Надин, и я могу взять ее руку и понюхать - сначала слегка, чуть-чуть, чтоб распознать, угадать, что это, а потом - ускоряя поток втягиваемого воздуха, пока не зазвучит мелодия запаха, у каждого человека своя, неповторимая. Один из признаков совместности или несовместности людей друг с другом.

- Опять приюхиваешься? - спрашивает она, потому что хорошо помнит мои старые привычки - почему мы недооцениваем памяти других? - и вдруг наклоняется и целует меня в губы, в уголок моих еще твердых и еще мужественных губ, туда, где складка - знак моего

го терпения и горечи, и это неожиданный поцелуй, кокетливый и стремительный, так что она носом клевет меня в щеку — возвращает на след: так пахнет та же сосновая кора, только пыльная, не омытая дождем.

"Дождем" когда-то называли мы наши ласки. Это мог быть "дождичек", мог быть "ливень" пополам с ветром, изредка "штурм" или "ураган", он с корнем выворачивал плотный кустарник взаимных обид — он потом врастал снова и снова с каким-то дьявольским упорством, — и после "шторма", разрушительной стихии, — хижину приходилось отстраивать заново из уцелевших обломков, — мы, выброшенные на берег, лежали без сил, распластанные, усталые, отчужденные, почти чужие, пока земля с бездумной непреложностью мчала в своих гладониях нас вокруг солнца, синего, с зелеными блестками, как зрачок Надин возле моего лица.

— Еще одна капля на твои губы, — и меня целуют чуть дольше, тем полагается целовать бывшего мужа при встрече.

— Здравствуй, Надин. Страшно рад тебя видеть.

— Наконец-то, — говорит она, будто только это и ждала услышать — моя страшная радость.

И чтобы усилить впечатление, я добавляю:

— Просто дико счастлив тебя видеть.

И на секунду — до крика явственно — встает передо мной ее ертвый образ: цветы, цветы, цветы — у изголовья, вокруг головы, а теле, в ногах, и восковая желтизна, пропступающая сквозь тонкий рим, какой-то свет в лице, свет с того света.

— Ты только что вздрогнул, — говорит она, берет сигарету и аккуривает. — Надеюсь, это от сдерживаемой страсти.

— В блеске твоего имора, — смеюсь я, — даже и не разглядишь, как ты сейчас выглядишь. Как поживает твой муженек? — спрашиваю я скорее, чтоб не выболтать — захлопываю дверь в будущее, за нее вопрос о Сидорове теряет смысл, — захлопнуть дверь и клич — в карман, и — вдвоем, освобожденные от ложного долга — в светскую беседу как в круизную затененную беседку или как в прогулку верхом в прокатных лошадях, смиренных, висловадых ипохондриках по Елисейским полям: а что сказала Мермена? а как поступил Мишель?

— Ты знаешь, он мне изменяет, — говорит она, складывает губы узиной попкой и кольцами выпускает дым; и я понимаю то, о чем раньше не догадывался: где-то глубоко в Надин живет средневековая рыночная торговка — говорливая, агрессивная, в меру илюстрия, с

прической "caines adulteri", себе на уме: вы посмотрите, сеньор, что за пух в этой подушке! о, мои бедные гусыни, Квinta, Пинта и Сильвия, разве вы могли мечтать, что будете ублажать своим пухом досточтимый зад этого сеньора? нет, вы и не мечтали об этом, бедные мои курочки!

- Разве он клялся тебе в верности?

- Конечно. Это были его первые слова после того, как я отдалась ему.

- Тогда он клятвопреступник, и его следует скечь на костре из его произведений.

- Хотя он по-прежнему любит только меня.

- Сочувствую. Значит, его измены - это сексуальный антракт между действиями семейной мелодрамы. Тогда скигать не надо. Дать ему доиграть до конца и раскланяться перед публикой.

- Не остыри. Я любила тебя.

- Помню. К сожалению, помню.

- Любила, а ты никогда даже не догадывался, что такое любовь, хотя и пишешь об этом.

- Мои описание - всего лишь эстетическая гипотеза о вероятном. Я догадывался: любовь как жизнь - одна. От рождения до смерти. И, так жизнь, она уходит на многих, в том числе и на тех, кому она не нужна. Любовь - это двусторонний талант, годный к перелицовке. Одна сторона - талант любить, другая - талант быть любимым. В одном человеке в одно и то же время это редко случается. *Si vis amari, atque.* Славные времена! С тех пор все вздорожало: и жизнь, и любовь. И все стало дешевым: и любовь, и жизнь.

- Но мы-то помним, - настаивала она.

- Да, - сдался я, - помнили. Но не были избранныками.

Милая Николетта, каждое твоё письмо, обдуманное ли, когда у тебя есть немного свободного времени, торопливое ли, под влиянием чегото неожиданного, внезапного, удивляющего впечатления, или просто наспех - среди твоих немыслимых забот о сексуальных психотиках - написанные несколько слов, - всякое твоё письмо для меня носило радость. Такую же острую новизну почувствовал я и в ноябрь-

ском твоем письме, где ты храбро бросаешься в глубокую философию. Если так пойдет и дальше, то ты станешь первым философом среди женщин и первой женщиной среди философов. Твои рассуждения, вернее, размышления о русских характерах, о национальных типах, я пока оставляю без возражения, потому что все, могущее быть сказанным о русских, может оказаться правдой: мы еще не являемся сами собой и чем больше тужимся быть сами собой, тем меньше ими оказываемся, — здесь и проклятие пространства: еще не Европа, но уже и не Азия; и проклятие культуры: подобуй отделить одно напластование от другого, свое от иноплеменного, — и ногти обломаешь, и мозги свихнешь набекрень. Скорее всего, мы — содеджание без формы: в нас понятия верха, низа, дна, поверхности, глубины, плотности еще не установились. Вот почему любой русский, покинувший немного за границей, оказывается внешне — в одежде, манерах, вкусах, привычках не отличим от жителя той страны, в которой он поселился. Вот почему среди канибаллов русский — оказался он с утра — уже на обед подкармливал бы своих белых, желтых или черных собратьев, разумеется, по рецептам своей национальной, русской кухни. Мы не дорожим своим собственным, потому что слишком чутки, переносчивы к чужому, оно кажется лучше, чем свое. Вот почему в нашем отечестве меньше пророков, чем в любом другом. Вот почему русские так необычайно и горестно талантливы. Брызги нашего таланта можно обнаружить в любом уголке земли, в любой цивилизации, начиная с новой эды. Брызги, но не саму реку, она уходит в песок. Потом мы его собираем, rationalists и pragmatists, и отжимаем, выдавливаем по капле...

Милал Николетта, ты — настоящий художник слова. Ты, а не я. Я — кто угодно: писец, экспериментатор, вопрошатель о жизни, искатель затонувших истин, кто угодно, только не художник, и вот почему: люди бывают двухмерны, трехмерны, четырехмерны и так далее, а мне никогда не удавалось любого из них изобразить так, чтобы он был виден сразу ~~всем~~кому — двух-, трех- и так далее-мерному — виден целиком, весь, *in pieno tondo*. Второе: я не могу любить своих героев одинаково, — для меня любовь — это якорь, хотя спасает от качки, но зато удерживает на месте. Ты же отдаешь много любви любимым героям и немного любви нелюбимым. Для тебя это не якорь, а канат спасения: бросай любому, на берегу разберемся. В тебе есть истинное, искристое, искреннее. И тогда пусть опыт моих сомнений станет в тебе открытием. А свой опыт нельзя сразу обрушивать на чу-

хув голову, чтобы не вызвать сотрясение мозга. Поэтому наберись терпения собирать крохи, те наблюдения, которые я рискину передать тебе из рук в руки.

Вот мои новости, старые, кроме одной: мне навязали жить в квартире одного молодого и забавного баварца. Несколько месяцев он будет рыться в архивах, пишет какой-то роман, я же ему нужен для стажировки в языке. Я согласился, потому что никогда не жил под одной крышей с немцем, и потому, что немец оказался забавный — невысокого роста, по фамилии Гроссер. Я сразу стал его называть "mein kleiner Freund" и спросил, где он добыл такую густую шевелюру. Он ответил с такой серьезной серьезностью, что любой другой на моем месте поверил бы: "Три года подряд у нас в Баварии были сурьёзные зимы, поэтому у всех баварцев выросли такие густые волосы, что даже мысли в них застревают, и их приходится вычесывать прямо на бумагу". Он показал мне густой гребешок и предложил за кружку пива в день обучать немецкому языку: "Через полгода вы будете говорить по-баварски и тогда можете приехать к нам. Вас узнают сразу на вокзале". Я ответил, что при одном упоминании о немецком языке у меня начинается аллергический насморк. Тогда Гроссер сказал, что, к сожалению, nozzle он даже храпит по-баварски. Я сказал, что храп — это как раз то, что мне нужно, и я готов брать уроки хоть сейчас. Но Гроссер оказался хитрее, чем я предполагал. По утрам он за бритвом несколько раз напевал строфу из оды Шиллера на мотив Бетховена. Семь дней в неделю — семь строф в оде, и однажды в понедельник во время моего утреннего дежурства на кухне (мы с Гроссером по очереди готовили завтраки на двоих) я вдруг поймал себя на том, что пою:

Freude, schöner Götterfunken,  
Tochter aus Elsium,  
Wir betreten feuertrunken,  
Himmlische, dein Heiligtum.

Гроссер с широкой улыбкой подравил меня и в тот же день начал учить ругаться: "Когда ты приедешь в Баварию, то начинай ругаться сразу на вокзале, даже еще не выходя из вагона. Тогда тебя все узнают и зауважают".

Гроссер-таки отнимает много времени, но до чего интересный и забавный немец! Пищевые и разноречивые философские понятия, склонность к драматическим сюжетам при полной неспособности к пессимизму, юмористическое восприятие серьезных ситуаций, — вот что такое

этот немец. Прибавь сюда веснушки на лице, нос картонной, крупные лошадиные зубы, скимающие такую прокопченную трубку, будто она долго работала паровозной трубой, — и ты получишь законченный портрет Гроссера.

Утром за завтраком и вечером за ужином и чаем мы проводим "массаж мозгов" и одновременно тренируемся в русском языке. Обычно он первым начинает "подиакиват" (*plaisanter*?).

— Ты знаешь, старик, основной закон общественных отношений? — спрашивает он. — Не знаешь? Так я и думал. В ваших университетах этому не учат. И напрасно. Так вот: основной закон общественных отношений — это закон принудительной специализации, устанавливающий поле действия естественного отбора. Этот закон разделяет всех членов общества на три категории: нужные сейчас люди — специалисты с определенным набором профессиональных, нравственных и физических качеств; затем — нужные в перспективе, в стратегии; и наконец, лишние люди с такими качествами и свойствами ума и души, которые обществу для его нормального функционирования не нужны ни сейчас, ни потом. Первая и вторая категории людей не обладают свободой воли, — они полностью детерминированы. Например, как только в обществе количество отрицательных эмоций и поступков становится выше нормы, что указывает на какую-то дисфункцию социального организма, — тотчас же увеличивается количество полицейских. Как только общество эмоционально дряхлеет, появляются всякие денквианы, эпататоры, нонкомформисты, бунтари духа, религиозные искатели. Как только общество букашует на почве морали, появляются революционеры с совершенно готовым планом строительства на руинах прошлого. Ты знаешь, старина, что такое мораль?

— Догадываюсь. Скорее всего, это комбинация рациональных правил, правил мироотношения.

— Комбинация... — ворчит Гроссер. — Тоже мне великий *комбинатор*. Мораль — это опыт прошлого, одушевленный в человеке и материализованный в его поступках. Мораль — это путы прошлого, удерживающие человека от его движения вперед. А в человеке действует закон опережающего сознания. Это значит, что любому действию предшествует забегание вперед, и если человек хочет заглянуть в будущее, он должен разорвать путы морали. Общественный долг — это всегда чужой долг, а человек должен следовать своему, а не чужому долгу.

— Ну, это ты объяснишь баварской полиции, когда вернешься домой.

- Да, - соглашается Гроссер, - если полицейский окажется хотя бы таким же философом, как ты. Бирочем, даже дым родины сладок. Как там у древних говорится об этом? Ты ведь специалист по древним истинам.

- *Et fumus patiae est ducis. Homerus.*

- Вот именно, - говорит Гроссер, - я иду из будущего и, следовательно, принадлежу к третьей категории несовременных людей и еще до Гомера не добрался. Как только доберусь, мы переделаем сюжет "Илиады" - я такие повороты действия придумал, что все последующие книжные черви пальчики заслизывают.

- У червей нет пальцев.

- Все равно. Тогда посмотрим, что будет, если я доберусь до Гомера. Вот посмеемся с ним!

- И долго тебе придется топать из будущего?

- Ты понимаешь, старик, практически это получилось сразу. Я тебе объясню. Но при одном условии: это - между нами, просто я к тебе приникся душевным расположением и доверием. Но ты, пожалуйста, никому ни гутту. Обещаешь?

- Кликнусь своими любимыми домашними теплочками.

- Идет, заметано. Слушай. Любая частица элементарной материи неуничтожима, не появляется и не исчезает. Количество частиц во Вселенной строго фиксировано, их  $10^{80}$ . Поэтому их комбинации, возникшие однажды в форме тебя или, например, меня, могут после окончательного распада повториться. А поскольку время - неуничтожимо, длительно, непрерывно, - следовательно, я могу существовать в нескольких временах одновременно с промежутком, равным полному зарождению, развитию, угасанию и распаду. Понял?

- Понял. Только почему ты можешь, а я не могу?

- Что поделаешь, старик? - разводит руками Гроссер, - тебе просто не повезло. Не так комбинация частиц. Но ты не огорчайся, ты и без этого хороший, и я тебя люблю как брата. Как продолжение самого себя. Вот так-то. Давай лучше дуэтом споем:

Freude trinken alle Wesen,  
An den Brüsten der Natur,  
Alle Guten, alle Bösen  
Folgen ihrer Rosenspruz.

Вот такие дела, милая Николетта. Я получил забавного соседа, с которым можно делиться сумасшедшими идеями, безумными впечатлениями, бредовыми эмоциями. А это хоть в какой-то, пусть малой степени уменьшает мою тоску по тебе.

Крепко тебя целую, моя подвижница, и пусть Господь нам обеим дарует мужество ожидания и терпение надежды. Твой Старик.

## 9

Весь предпоследний вечер конференции мы провели вместе, — Кастьельс, Эрвин, Грессер, Фриц и я, позже пришел океанолог-арагонец, он принес выращенные им морские орешки, пахучие, сладкие, хрустящие, они поглощали горечь бискайского рома, который мы поглощали за картами — играли двумя колодами в "медведя"; играли на сникеты — давняя традиция, принятая среди близких друзей в нашем кругу; так однажды, в такую же общую встречу, я сгоряча, случайно проиграл Грессеру сникет о музиканте, совершившем восхождение по нотам собственной музыки — у Грессера, к моей зависти, получилась-таки изящная, легкая новелла — а в другой раз я, поднатужась, потому что обычно в карты мне не везет, — выиграл у Эрвина сникет о заменищике, и он стал героем повести "Замерзающие слова", — вместе сидели в моем номере наверху и говорили о правде в искусстве. О чем же еще могут пятеро циничных литераторов говорить и один невозмутимый арагонец молчать? — об искусстве изображения, воплощения, воссоздания или — что одно и то же — о женщинах (литераторы были циничны, то есть не признавали святости в принципе, в том числе и святости моногамии), потому что женщина, — это практика искусства, а искусство — теория женственности: все искусства, кроме, пожалуй, архитектуры, да и она, если раскопать корни — кильице хранительницы очага, все искусства построены на женской основе. На этом и продолжалась игра словами в слова.

— Правда и истина в русском языке суть женского рода, — продолжал Кастьельс.

— Ложь — тоже женского рода, — заметил я.

— Ложь — тень правды при свете дня, — мрачно сказал Фриц. — При свете ночи все наоборот. Или: правда — личная форма безличной общественной лжи. Сбрасываем бубны. Предлагаю проход по виням.

— Принято, — сказал Грессер. — Тогда истина не существует в реальной форме. Истина — абстрактна, умозрительна, непредстави-

ма, как, например, непредставима бесконечность, хотя она и содержит конечные величины.

— У меня пятнадцать, — сказал Кастальс. — Гроссеру три очка в минус за неточный ход и отклонение от темы и тезиса. Требуется доказать во-первых, что искусство слова построено на женской основе; во-вторых, что правда в нашем ремесле невозможна; в-третьих, — наше ремесло возможно только в поисках правды. И пусть кажущееся противоречие вас не смущает. Мой великий соотечественник, баск *Miguel de Unamuno* утверждал, что не противоречит себе только тот, кто никогда ничего не говорит. *Si un hombre nisca se contradice, será porque nisca dice nada.*

— Это слишком просто. *Buscar tres pie's al gato*, — сказал я, и арагонец, сидевший рядом с Кастальсом, улыбнулся.

— Это задача для пана Крымевского, — заметил Эрвин, он был "медведем", и сейчас разыгрывался его сюжет об искусственно зачатом младенце, который, став взрослым, безуспешно пытается разыскать своих предполагаемых родителей. — Пан Крымевский сейчас бы вывел координаты и математически доказал, что искомой точки не существует, что ни правда не проецируется на искусство, ни искусство не функционирует от правды. Чей ход?

— Пожалуй, я попробую, — сказал Кастальс. — Начну с трех валетов. Без козыря. Сердце литературы — сюжет. Двигатель сюжета — любовь или голод во всех их возможных модификациях. И любовь, и голод прямо связаны с продолжением жизни, невозможным без женской основы. И то, и другое либо направлены на женщину, либо исходят от нее. Поэтому литература — женственна. Утоление любви и голода — это истина для продолжения жизни, ибо без жизни истины не существует. Утолением любви и голода — прошу всех пройти по бубнам, так, теперь еще раз; хорошо, Эрвину семь очков в минусе; прекрасно, медведя уже подняли, кто застрелит? — утолением завершается сюжет, останавливается двигатель, умирает в законченных формах искусство, значит, оно может существовать только когда стремится к истине, но не достигает ее. Искусство — одно из условий существования жизни, катализатор процесса. Старик, ты опять придергиваешь тузов?

Я придергивал тузов, потому что "под рукой" у меня сидел Гроссер, и мне хотелось, чтобы он "убил медведя" и взял эрвиновский сюжет об искусственном мальчике. Кастальс безошибочно чув-

ствовал карту партнеров и понял, что я не хочу выигрывать. Гроссер пропустил один ход и в следующие два выиграл.

- Халь, - сказал Эрвин. - Гроссер обелинявит сюжет, захарит его так, что в рот будет противно взять.

- Ничего, - рассмеялся Гроссер, блеснув белыми зубами и картино откинув голову с седой, рыжего отлива шевелюрой. - Я дам две-три параллельные линии развития, это мой отвлекающий маневр, затем несколько выигрышных побочных образов по стандартам мещанской красоты, разбавлю текст афоризмами, которые я всегда готовлю впрок и - ничего - съедят и добавки попросят.

- Интересно, Гросс, - спросил Фриц, по обыкновению мрачно улыбаясь, - как ты достигаешь такой завидной популярности?

- Я ее высчитываю, - снова блеснул зубами Гроссер, все еще продолжая держать голову, как на своем портрете в национальной галерее. - Я планирую популярность.

- Каким образом?

- Весьма простым. Я заранее работаю на определенного читателя, которого я обычно цалу: не подбрасываю ему головоломных проблем, приятно льщу его чувству собственного достоинства, в меру возбуждаю его половую сферу, иногда позволяю ему думать, будто он, читатель, умнее меня, автора. Поэтому мой читатель знает меня, как своего дальнего родственника и платит мне благодарностью и деньгами. Допустим, я делаю ставку на читателя, который не сложил семейной жизни или разладил ее, или собирается по каким-либо причинам сложить или разладить. Допустим, в странах англо-франкоязычных, где меня могут читать - заметьте, друзья, всегда важнее заставить говорить о себе в другой стране, тем самым выставите национальные издательства в положение моральной вины и даете им возможность перебелить свою черную неблагодарность в хорошие тиражи - в странах, где меня могут читать, таких читателей окажется десять-двенадцать миллионов. Я ввожу коэффициент поправки, получаю около двух или трех потенциальных читателей. Выводу усредненную психологию такого читателя, расписывая для себя, чего же он ищет в жизни и в искусстве, и затем выстраиваю сюжет в точном соответствии с запросами. Заключительный этап работы - мистифицированное интервью, где я - интервьюер, разумеется, под другой фамилией, поднимаю на смех себя-литератора. И после всего этого популярность сама гоняется за мной, называется и линяет.

- Понятно, почему ты стал мрачный и стадый. Закис на расчетах.

- Ничуть не закис, - широко улыбается Гроссер. - Зато я не испытываю разочарования оттого, что меня не понимают. Паблисити вышедшей книге создают рецензенты и обозреватели, а они-то как раз и относятся к числу моих читателей, ради которых я работал.

- После твоих романов увеличивается число разводов.

- Но появляется вновь желание любить.

Все засторили о том, каким следует быть современному читателю, а каким - рассказчику, и в этот момент приложения разном направлений психических сил, когда разговор, казалось, вот-вот забуксует на месте, как грузовик в осенней жиже, и из-под колес полетят комья грязи, - вошла Надин-примирительница, в чем-то длинном, голубом, причудливо-утонченном. Арагонец, самый молодой из всех - настоящий идальго, потому что в присутствии женщины томность и пылая грусть обозначились на его прымодушном, четком рисунке лице, - тотчас встал, предупредительно подвинул кресло, усадил Надин, сгреб со стола карты, поставил чистый бокал с тонким золотистым орнаментом по краю, бутылочку марсалы, налил вина и подвинул вазочку с морскими орешками. Очаровательный мальчик. Когда-то таким же любезным был и я, и в какого бриллюта превратился.

Надин отпила из бокала, - ноздри точеного носа вздрогнули, ресницы качнулись, зрачки потемнели. Она была в приподнятом настроении, агрессивно-романтическом, и готовилась сразу, не склоняясь с места, обольщать нас всех.

- Вся элита в сборе, - сказала Надин, - про что разговор? Небось, про литературу?

- Про нее, треклятую, - ответил за всех Кастальс, тонко улыбаясь и глядя на красивую прическу Надин и ее лицо, такое тщательно новое, будто только что из мастерских, и где-то за ушком - клеймо контролера по качеству; Кастальс - тоже идальго, только постаревший, что намного опаснее, потому что рыцарство замешано у него на иронии и приперчено тайным цинизмом. - Про литературу. Потому что ни в чем другом мы ни бельмеса не смыслим.

- Послушайте, Пабло, - мягко сказала Надин, как всегда, когда разговаривала с ним, - издалека и с опаской, - и улыбнулась ни только ему предназначенней улыбкой, - ваш русский язык, Пабло,

режет слух. Давайте перейдем на английский, если остальные не возражают.

— С удовольствием, мадам, — сказал Гроссер, — тем более, что среди нас нет ни одного коренного англичанина и, значит, ничьих ушей мы не оскорбим.

— Я хочу поиграть в ваши высоколобые интеллектуальные игры. — Надин смотрела на меня из разминала в пальцах тонкую скорлупу морского орешка. — Начнем с вас, Фриц, и дальше — по часовой стрелке.

— Для вас, мадам, — заулыбался Фриц (черт возьми, да здесь все — идеально, и даже Фриц — как испытанный боевой конь, если не горячий, но еще достаточно теплый, готов прыгнуть ушами и мчаться в атаку). — Для вас я готов пробудить в себе беса болтливости, чтобы он одолел во мне ангела скромности. Однако не обольщайтесь на мой счет. *Nothing comes out of the sack but what was in it.*

Между нами, немцами, и вами, русскими литераторами, много общего. Во-первых, мы не можем жить без авторитета. Поскольку наша обыденная мысль, вялая и ленивая, неспособна к самовозгоранию, то и любая нелепость, изреченная великим человеком и тысячекратно повторенная почитателями, обретает права истины. А мы привыкаем к этой истине, перестаем ее замечать и продолжаем жить так, будто ничего существенного не произошло. Во-вторых, мы тяжеловесны, медлительны, неизящны. Мы чаще и с удовольствием думаем о желудках, чем о душах. В-третьих, мы моралисты во всем, что касается обыденного жизнепорядка. Если же какой-нибудь немец или русский выпадает из этого правила, то при ближайшем рассмотрении он оказывается замешан на иноzemской крови. Из всего этого — драматизм мировосприятия, излишняя, часто смехотворная серьезность и отсутствие чувства юмора. Смеющийся — на два шага впереди плачущего. У наших Достоевских и Толстых, также как у наших Гете и Шиллеров, всегда было в избытке, кроме одного: желания и способности смеяться. Вот почему своих сатириков вы любите, вернее, чтите, когда они уже в гробу и ничего нового уже не скажут. Не так ли, Гросс?

— Это правда, — важно подтвердил Гроссер, — мне тоже не хватает чувства юмора, хотя только это и роднило меня с великими предшественниками. Я — Гроссер, этим сказано все. Но не это самое

смешное. До вашего прихода, мадам Надин, мы играли на сиккеты. Я выиграл "искусственного мальчика", очень интересный, прекрасно и тонко, как старинная резьба по кости, сиккет. Но ведь "искусственный мальчик" - это я сам и есть. - Крутое лицо Гроссер расслабло, обмякло, распустилось искренней улыбкой. - Моя мать, которую я так и не знаю, очень хотела ребенка, решилась на лабораторное зачатие, но затем отказалась от меня, но ничего уже изменить было нельзя, я уже начал существовать, сначала в колбе, затем в ванне, затем я родился по специальным трубам. Имитация в данном случае была полной, вплоть до криков роженицы, записанных на пленку. Потом Аннет Гроссер, ассистентка профессора, усыновила меня. Как видите, нет во мне голоса крови, а многие голоса - шум крови, и среди людей я иногда ощущаю себя изгоем, иногда парией, иногда существом иного порядка. Поэтому именно я должен был иммигратъ этот сиккет, и я знаю, как с ним поступить: эта новелла никогда не будет написана. Тем более, что сиккет - запатентован.

- Браво, - сказала Надин, - я всегда считала вас умцарем добра. В ваших книгах, - пусть смеются, кто может, - в ваших книгах никого не убивают, никто никогда не умирает. В них мучаются, страдают, страждут, утешаются, но - живут. И это - главное во всех ваших сиккетах. Ты согласен, старина? - обратилась она ко мне.

Вот так, Дошла очередь и до меня. Я должен высказаться не совсем внятно и не слишком банально, чтоб только поддержать свой авторитет человека, который если и не знает все обо всем, но хотя бы имеет на все свой собственный прозрачный взгляд. Я набрал побольше воздуха в свои старые меха и понес вздор. Лишь бы поскорее отделаться от этого разговора, отчалить от берега и - в Лету - из привычного будущего сквозь незнакомое настоящее - сквозь тени взглядов, тени лиц и тени слов - в полуза забытое, щемящее, милое прошлое.

- *Sujet*, - заговорил я, - вот в чем существо жизни, судьба всякого бытия. Это я когда-то говорил своим студентам, - как у всякого старого дурака, у меня когда-то были ученики, большинство из которых так ничему и не научились, хотя я и старался изо всех сил, - а теперь говорю вам: ищите *sujet* и коли отыщете и себя не потеряете, в этих поисках, то будете не просто счастливы, но устойчиво счастливы. А в нашем, неизбежно в худшую сторону меняющемся мире что может быть желаннее и недоступнее устойчивого счастья? Обычно я начинал занятия с вопроса: что такое счастье?

Простой вопрос, не так ли? Но с тех пор, как философия пошла в прислуги к политике, как раз и самые простые вопросы вызывают наибольшие затруднения. Я не спрашиваю об этом вас, вы все *elects* и знаете, что ни цели, ни смысла, ни тем более счастья в жизни нет. Но спросите среднего человека, подлинного *homo artiens*, не как Гроссер, *homo ex machina*, а того, среднего, живущего принципом *après moi le déluge* — спросите: что такое счастье? Он выдаст стандартный набор: деньги, любовь, друзья, работа, музыка и еще с полдюжины всяких вещей, которых ему не хватает, чтобы потоп был полнее и прошел веселее, чем предпотопье. Таким я обычно говорю: счастье — это состояние полного физического, душевного, нравственного и социального здоровья. Отсутствие даже одной составляющей делает человека несчастным. И я опять им: ищите свой собственный симметр. Ибо большинство человеческих симметров неструен повторяется с идиотским постоянством, — родился, жил, умер. И никаких следов, хотя звучит это впечатляюще: пришел, увидел, наследил...

— Ах ты, старый брезга, — говорит Гроссер. — Ворчливая ты развалюха. Как баржа на песке...

## IO

...как баржа на песке оказывается в конце концов тот груз воспоминаний, удовольствий, встреч, разлук, непонятостей, удивлений, открытых, иссякших надежд, радужных переключений, весь дорогой нашему сердцу хлам прожитой жизни, поклада на телеге бытия, которую мы, напрягаясь, скользя и падая и поднимаясь вновь, тащим за собой в непроглядное прошлое, из тупика в тупик, сквозь перспективу безысходности, сквозь краткое счастье веры и мучительную длительность неверия, сквозь преданность и предательство...

Милая Николетта, когда перебираешь годы, как страницы, взгляд выхватывает отдельные подробности, прude только что приведенной фразы из "Апокалипсиса на кларнете" — я уже что-то насочинил на своем веку, и если бы мне предъявили написанное мною, большинство своих детей я бы не узнал, но отдельные фразы живут, и видны, и

памятны, как морщины на душе, - из всех написанных когда-то книг больше остальных люблю "Апокалипсис", он вобрал все мои предчувствия, сам был переходом от повального увлечения сатирой - из всех периодов человеческой цивилизации двадцатый век был самым гениальным, дурацким и сумасшедшим временем, пародией на человеческий разум, отрицанием его - от увлечения сатирой в сумрачные времена, - последние четыре столетия у нас в России всегда начинались за здравие, а кончались за упокой, - к предвидению духовного подвигничества, / к предвосхищению иных, светлых, стремительных человеческих возможностей - когда я встретил Филиппа, - из-за него и ради него был написан "Апокалипсис", - человека, наделенного даром гениальной догадки и обреченного умереть прежде, чем он успел высказать эту догадку до конца.

Дальше - тишина. Как говорил Гамлет.

И пауза. И немота. И последние капли духнувшего аккорда с шелестом падают в траву. И наступающая тишина набивается в уши как предчувствие близкого грома. Грохот тишины.

Спиной - на земле, лицом - к небу: там синь и облака. Синяя облачность. Облачная синь. Банкает, усыпляет, втягивает, растворяет.

Руки раскинуты. Чтобы удержаться, не улететь. Земля не отпустит. Ибо все принадлежит ей. Даже облака, мелкие, белые, курчавые барабанки - как мягкие водоросли на дне неба, а в синеве - прямо подо мной - плавает, раскинув руки, Филипп.

Он плавает спиной к облакам, лицом ко мне - неглубоко, метрах в сорока, и улыбается мне, а ветер шевелит его длинные струящиеся волосы - экая дурацкая мода, я думал, она никогда не вернется, - наконец, ему надоедает плавать в небе, и он возвращается ко мне на землю, делает круг почета, изогнув вытянутые руки, и ложится рядом на траву.

Мы знаем друг друга и научились понимать один другого с полуслова, с полузнака, с полужеста. Поэтому молчим.

Когда-то, во времена моей завершающей лекции, - я всегда заканчивал свой крошечный университетский курс одной темой - "Время, ценности и правда в искусстве", - среди немногих и уже знакомых, - мало кто выдерживает до конца мой курс, излагаемый намеренно скучно, - лиц усталых и по-весеннему рассеянных и осоловелых, лиц студентов, я увидел одно, приметное устремленность,

ровым скрытым светом в глазах, отсветом энергичной прямой мысли.

Я закончил лекцию — чтобы снизить патетику высокопарности — фривольным, скабрезным анекдотом, и сошел с кафедры.

В коридоре меня ждал Филипп.

— Профессор, — сказал он, — я случайно попал на вашу лекцию, понял, что нас с вами волнуют одни и те же проблемы, и решил с вами поговорить.

Я мельком взглянул в лицо Филиппа. Лет двадцать пять. Из научников. Во взгляде — устремленность. А жаль. Научников я считаю скучнейшими существами. Одержимых научников — сторонюсь, фанатичных — избегаю.

— Молодой человек, вы ошибаетесь. Все свои проблемы я давно решил, и теперь меня ничего не волнует.

— Тогда я изложу вам свои проблемы, — настаивал он, этакий настырный малый.

— Зачем? Ваши проблемы меня тем более не волнуют. Вы ведь научник, — так? — а научников я считаю людьми второго сорта. Вам, вероятно, известны мои теоретические воззрения на практическую науку, тем более, что я своих взглядов не скрываю, а напротив, излагаю громогласно по любому поводу и без повода. Поэтому обращаться ко мне с нерешенными проблемами — неосмотрительно. И бесполезно. Тем более — научнику.

— И все-таки, профессор, я прошу вас уделить мне полчаса.

— У меня нет времени. Сегодня вечером я улетаю... У кого вы занимаетесь?

Он назвал.

— Господи! — воскликнул я. — Этот шарлатан по-прежнему набивает головы студентов доморощенными примитивными теориями?

Филипп улыбнулся:

— А мой учитель говорит о вас: "Когда этот шаман перестанет разлагать души молодых людей своими бреднями?" Так вы выслушаете меня?

— Между ужином и самолетом. В семь вечера.

Он пришел в половине седьмого. Я как раз укладывал чемодан: крышка избесилась, изгибалась горбом и вырывалась из рук.

— Рубашки помнутся, — с порога сказал Филипп. — А гадстуки неприлично будет даже собаке повесить.

— Вы так полагаете?

- Я вижу. Разрешите мне? - Филипп вытащил все из чемодана и в две минуты аккуратно уложил. Образовалось свободное место. - Придется что-нибудь еще сюда положить, иначе рубашки помнутся. Но я это предвидел. Вот, - он протянул мне коричневую папку.

- Что это? Рукопись? - запротестовал я. - Увольте, юноша. Чужих рукописей не читаю.

- Эту придется прочитать.

- Простите, вы спятили? Я своих привычек не меняю.

- Профессор, вы обещали полчаса разговора.

- Ну, хорошо. Ради Бога, говорите скорее, забирайте свою бумаги, и мы расстанемся.

- Вы разрешите присесть?

- Садитесь, - буркнул я довольно нелюбезно, ибо и тогда, и позже не любил напористых сопликов. - Как вас зовут? Филипп? Прекрасно. Валяйте, *fillip*.

Я расслабился в кресле, уставился в пол и приготовился слушать.

- У меня нет времени, - начал он, - поэтому я - без предисловия... Моя тема на ближайшие десять лет - это теория свободного полета. Я начал эту работу на третьем курсе университета и, по моим подсчетам, мне нужно лет двадцать, чтобы завершить эту работу. Она должна состоять из трех разделов. Первый - теория пространства. Второй - физиологические основы свободного полета. Третий - практика свободного полета. Вы не спите, профессор?

- Нет-нет, - очнулся я от созерцания рваных носков домашних шлепанцев. - Внимательно слушаю и пытаюсь понять, при чем тут я? Работайте потихоньку, пока не полетите.

- Сейчас поймете, - продолжал Филипп. - Я абсолютно уверен, что приду к свободному полету, но мне... не успеть. Я знаю свой ПАК.

- Вот как? - удивился я. - И кто же рискнул своей профессиональной карьерой?

- Мой отец - врач.

- А, понятно... Сколько у вас времени в запасе?

- Семь лет. И еще год при использовании новейших препаратов. Я молчал, погрузившись в раздумье.

ПАК - полный (генетический) анализ крови, позволяющий с большой вероятностью устанавливать продолжительность жизни и причину возможной смерти. Сообщать ПАК запрещено законом.

...погрузившись в раздумье, я рассматривал обломки крыльев — они лопнули и разлетелись в щепки, обломки, жалкие лохмотья, когда я прыгнул в сад с крыши деревянного дома, с самого кенгура, подняв лицо к небу и закинувшись от солнца, прыгнул, чтобы взлететь над крышей, садом и дальше — к реке и за реку. В густые горькие травы; испуганный моим падением краснолобый тяжелый петух боком-боком поскакал в сторону; грузно и бездарно оторвался от земли, взлетел на забор и заголосил; под крышу, скользнув с воздушной горки, мынула ласточка; с моей ноги прыгнула в воздух и исчезла большеглазая синяя муха; над лицом, державъ за серебристую нить, двигался в воздухе зеленый паучок, — все в этом мире могло летать, кроме меня, — я перевернулся на живот и завыл, колотя кулаками по земле: "отпусти, проклятая, отпусти!", пока шершавая грязная голая пятка не толкнула меня в бок — краем глаза я увидел, как одна голая нога чешет икру другой голой ноги, — и надо мной парашютом — цветастая в белый горошек юбка, а под ней розовые трусики моей подружки Натали: "Ты чего сегодня в школе не был?" — она приседает на корточки возле меня и рассматривает обломки: "Ах! Крылья! Дашь полететь, а? Давай их починим и пойдем на обрыв, а? Дашь разочек летнуть? Я легкая, не разобьюсь. Думаешь, я струшу, да? Я не струшу, чтоб мне на этом месте провалиться, а? Ты тяжелый, ты не знаешь, как надо летать. А я знаю, и я такие крылья никогда бы не сломала..."

— Мало, — сказал я. — Чем вам можно помочь?

— Отдайте мне свое знание времени.

— Что у вас в папке с дурацкими тесемками?

— ННН. Принцип поглощения пространства.

— Читайте, — сказал я, обмикая в кресле, принимая естественную спокойную позу.

...Филипп полетел через пять лет.

Милая Николетта, как памятны мне эти годы, для меня они были трудны и хлопотны, для Филиппа стали каждодневным подвигом преодоления болезни, преодоления своего пути, подвигом восхождения к вершине, на которой ему пришлось стоять так недолго. Даже внешне он менялся: волосы выше лба выпадали, но были довольно длинны на затылке, глаза углублялись синевой век, у носа и губ ложились трагические складки, но его походка, движения...

Его первый полет казался неловким и скованным, но неловкость была царственной, а скованность вызывалась сдерживаемой силой.

На холме у ленивой речушки Горлицы – уже много позже дотошные, но бездарные потомки, не сумевшие ни поддержать, ни продолжить гениальной догадки, воздвигли черномраморную стеллу с высокопарной низкопробной благодарностью, но тогда, в то июньское утро ни памятника, ни чугунной ограды не было, а были брошенные пиджаки и два распластертых тела – Филипп, лежавший с закрытыми глазами, внутренне готовясь к пробе, и я, попыхивавший сизым дымом в синее небо.

– Пора, – сказал Филипп и, прямой, не сгибая колен, встал с травы.

Я приподнялся, оперся о локоть и смотрел, как Филипп берлит – легко, едва касаясь короткой густой травы и разгоняясь быстрее и быстрее и, наконец, наклонился вперед, вытянул руки, вытянулся сам, оторвался от земли и заскользил в жарком колеблющемся воздухе над пологим берегом реки, над лугом, дальше – к осиновой роще.

– Все в человеке, – решил Филипп, отдышавшись. В последнее время его все чаще тянуло к философским обобщениям в банальных формах, – первый признак близкого конца. – И полет, и падение – все. Кроме бессмертия.

– Что говорит отец?

– Теперь уже ничего. Мы обо всем договорились. Раньше – да. Он говорил, что каждый полет обходится мне в месяц жизни. Просил отказаться. Но моя жизнь – в полете. Пока летаю – живу. Покупать обретение долголетия за отказ от свободы я не могу.

– Но ты не успеешь ничего передать и оставить после себя. Кроме памяти человеческой, склонной к распаду. Пока ты – единственный, кто может летать свободно. А потом и об этом забудут.

– Не нужна мне память обо мне. Пусть останется память о возможности. Будут другие, и третья, и седьмые, которые захотят дерзнуть.

– Дерзких много, дерзающих мало. Не обольщайся, Филипп. Мир подлеет не по дням, а по часам. И период полураспада современной личности короток.

– Не ворчи, старина, – рассмеялся Филипп. – Дождись восраждения...

## II

Эти двое, высокие, крепкие, тренированные, с великодушною развитой памятью, наблюдательностью, нацеленностью в разговоре, — профессиональные репортеры, готовые совершение на все, если это хоть как-то приближало их к результату, — появились в нашей компании, когда прощание было в самом разгаре, и своим наглым поведением непрошенные гости надушили установившуюся гармонию.

Нас было пятеро: Кастьальс, Гроссер, арагонец со своей подружкой Пенелопой-Джесси, у которой при ближайшем рассмотрении обнаружились и природный ум, и душевные глубины; на вопросы она отвечала не задумываясь, просто, естественно, остроумно, легко могла поддержать любую тему разговора, могла распознать и откликнуться на чужие эмоциональные порывы, короче говоря, арагонцу повезло, и он сам чувствовал это, и к его серьезности прибавлялась чисто мальчишеская радость, она то и дело проливалась в лице; пятым был я, как всегда пытавшийся удержать около себя людей, достойных доверия и сердечной сопричастности.

Каждому из пятерых, — для Кастьальса, Гроссера и меня это было разминкой вербальности; для арагонца и Джесси — забавной новинкой — полагалось рассказать имористическую, драматическую и детективную историю, когда либо с ним случавшуюся.

И эти двое появились как раз в тот момент, когда я собирался поведать скетч о своем грехопадении: время отсеивает драматическую шелуху событий и оставляет лишь зерна комического, — когда появились эти двое, черный и рыжий, вошли с выражением живейшей любознательности на лице. Никто из присутствующих, кроме меня, не знал, зачем появились эти двое.

— Кто вас сюда звал и кто пропустил? — спросил я на правах хозяина.

— Спокойно, Санчо, — сказал мне Кастьальс, увидев мое сместившееся лицо. — У этих молодцов аппаратура, и они даже из молчания делают высказывания.

— Всего дюжина маленьких вопросов, — умолкли подняв руки черноволосый, — всего несколько вопросов, господа. Прошу вас: интервью с вами мой последний шанс. Иначе шеф выгонит меня и мои четверо детей, все пятеро малюток, включая жену, умрут с голода. Вы когда-нибудь умирали с голода? — спросил он Кастьальса.

— Узнайте об этом где-нибудь в Центральной Африке.

- Безразличие к слаборазвитым странам ваш принцип?
  - У меня нет принципов.
  - Прекрасно. Беспринципность не мешает вашим связям с социалистами?
  - Ничуть. Я никак не связан с социалистами.
  - Кого же вы предпочитаете - левых или правых?
  - Ни тех, ни других.
  - Отлично, сеньор Кастьельс. Вы откровенный анархист. Тогда что вы думаете о президенте Соединенных Штатов?
  - Ничего не думаю. Нас не знакомили.
  - Понимаю, сеньор Кастьельс. Вы хотели бы познакомиться с этим достойным человеком.
  - Я этого не говорил.
  - Естественно. Ваша скромность понравится читателям нашей газеты. Благодарю вас. Теперь вопрос к вам, Старина. Что вы предпочтете, - кружку холодного пива в жару или зонтик в дождь?
  - Я останусь дома и буду пить горячий чай, - ответил я. - А почему вы ходите вдвоем?
- Черноволосый рассмеялся:
- Мы всегда ходим напару: я пытаюсь сбить собеседника в разговоре, а Сэм фиксирует весь антураж. У него потрясающая интуиция и сверхъестественная зрительная память. Он запоминает даже то, о чем вы сами не догадываетесь. Не так ли, Сэм?
  - Так точно, - неожиданным басом прогудел рыжий. - У Старика сзади на брюках расстегнулись подтяжки.
- Я коснулся пальцами поясницы: подтяжки были расстегнуты.
- Молодцы, ребята, валяйте дальне.
  - Духовный источник вашего творчества - Гитлер или Сталин?
  - Ни тот, ни другой. Мой духовный наставник - блаженный Августин, который в молодости был манихеем, как и я в зрелом возрасте, а они все дуалисты, и были убеждены, что задача человека - содействовать торжеству света, владычеству добра.
  - Вы возлагаете на себя божественную роль - различать и указывать, где добро и где зло?
  - Нет, скорее Господь исполняет мою человеческую роль и постоянно смешивает эти два понятия - добро и зло.
  - Кого вы включите в первую десятку самых выдающихся писателей современности?
  - Самые выдающиеся писатели современности - это я, затем Жак Шарпантье, четверо остальных, здесь присутствующих, затем любовник моей жены Гринка Сидоров. Дальше можете называть кого

угодно.

— Четверо остальных, — повторил за мной черноволосый и склонился в плотоядной улыбке. — Значит, кто-то здесь присутствует дважды. Благодарю вас, Старина. Теперь вопрос к вам, герр Гроссер. Кто вам больше по вкусу, — блондинки или брюнетки? //

— Крашеные.

— Отлично. Вам ответ мы пустим на рекламу парфюмерии. Что вы думаете о стиле современной литературы?

— За меня сказал Бифон: стиль — это человек.

— Бифон — фабрикант нижнего белья?

— Нет, вархнего.

— Превосходно, герр Гроссер. Как к вам относятся читатели и читательницы?

— Читатели — завидуют, читательницы — ненавидят.

— Тогда в чем секрет вашей популярности?

— У тех и других я питая их отрицательные эмоции.

— Значит, современное общество вас устраивает?

— Вполне. Но я его не устраиваю.

— Благодарю, герр Гроссер. Теперь вопрос к мадемузель. Ваше имя?

— Пенелопа-Джесси.

— Что вам больше нравится — писать по-писанному или писать по-перекинтому?

— Я предпочитаю мечтать о том и другом.

Черноволосый готовился выпустить короткую очередь скользких вопросов, чтобы сбить уверенность Джесси, но я его прервал:

— Послушайте, как вас там, оставьте девочку в покое. Я уже говорил, что самый великий писатель из ныне живущих — это я, поэтому обо всем, что касается литературы, у меня и спрашивайте. Вам понятно?

— Понятно, — ответил черноволосый с мгновенной, насторожившей меня готовностью. — Скажите, Старина, кто такой Лак Шарпантье?

Ну вот, они хотят добраться до Николетты. Мало им всех остальных, чей ум и талант они высосали.

— Об этом писателе я делал доклад на минувшей конференции. С подробностями можете ознакомиться в тексте, который, вероятно, лежит в кармане вашего пиджака.

— Вы правы, лежит, — спокойно согласился черноволосый, — но моим читателям интересно услышать от вас еще что-нибудь об этом писателе.

— Пожалуйста. Шарпантье — молодой француз, открывший совершенно новую форму литературной прозы, и если судьба даст ему сил, таланта и времени, он произведет революцию в искусстве слова.

— Вы можете устроить пресс-конференцию или хотя бы интервью с Лаком?

— Нет, это исключено. Все его интересы, — текстовые формы, издательские гонорары, рекламу и все остальное представляю я. Это юридически оформлено и обосновано.

— Чем вы объясните, — спросил черноволосый, — что никто, будто это второй Травен или Буасси, не видел его в лицо и не видел фотографии?

— Ничем, кроме того, что Лак живет уединенно и не любит фотографироваться.

— Может быть, под именем Шарпантье скрывается кто-то из современных маститых? Может быть, вы сами?

Я рассмеялся:

— Послушайте, приятель, не разыгрывайте воплощенную невинность. Вы давно уже задавали этот вопрос компьютеру и выяснили, что Шарпантье — совершенно новая и совершенно необычная фигура в литературном мире.

— Вы правы, — сказал черноволосый, — я действительно проводил идентификацию текстов... И все-таки жаль, что вы скрываете подлинное имя Шарпантье. Я мог бы с помощью газеты устроить ему такой бум!

— Шарпантье в паблисити не нуждается. Благодарю вас, господа, и прошу удалиться.

...сказай ты мне вслед, когда я проходила мимо по хрусткой снежной тропе между сугробами, их неожиданно намело за две суток снегопаденья — что-то с улыбкой произнесла в ответ на твою улыбку, но ты не расслышал, не внял голосу, и все-таки что-то сказал, ощущив теплую влагу в горле и щемящий холодок в груди, потому что ангел встречи, неведомо как залетевший в этот единственно солнечно-снежный декабрьский день, успел коснуться нас

обоих концами прозрачных крыльев, и мы - не знали друг друга, ни имен, ни характеров, ни судеб, - уже были обречены друг другу, и с этим ничего нельзя было поделать, а я уходила по узкой тропе - слева сугроб, справа сугроб - понаправлению к низкому солнцу, и моя низкая тень на снегу лежала у твоих ног и тянулась, удлинялась, покачивалась, не зная, бежать ли за мной или остановиться у твоих ног, а ты - еще ничего не знал - ни о своей любви, ни о моей судьбе - уже завидовал синей, такой некрасивой распластанной тени, могущей быть при мне всегда, отставать при свете дня и обнимать меня ночью или в сумерках, скрыто, тайно, с острым и таким сдерживаемым счастьем, чтоб ничей наглый взор не смог спугнуть трепетного согласия, бежать за мной вслед, чтобы опередить и пытаться, пытаясь - глядеть не наглядеться и видеть лицо, такое потрясашее будничное, каждодневное для друзей, родных, близких - брови, они еще не научились, но потом научились одним движением спрятывать тебя, и ты никогда не ошибался в ответе; глаза, ты так любил в них тонуть - взглядел покачаться на упругом выцветшем кончике черной ресницы и - броситься в светлый омут, на дне которого разноцветные камешки как на морском берегу дрожат от сдерживаемого смеха, мырнуть и захлебываться от счастья; губы - в едва заметных морщинках, теплые в середине и прохладные по краям, две напряженные долбы плоти, которые ты учили целоваться, - сначала едва-едва коснуться уголка губ, затем постепенно, томительно-медленно захватывать, вовлекать все остальное, влажнющее, напряженное и вздут - обминающее, теплещее, горячее; подбородок - не совсем размазанный, но и не очень упакованный - овальный, переходящий в линию шеи, где под прозрачной кожей синела и отчаянно пульсировала тоненькая жилка, когда ты осторожно касался ее губами и доныне взгляд за отставший вырез платья; взгляд скатывался по ключице в темную ложбинку между грудей и, счастливый, умиротворенный, затихал там, не шевелясь, не шевелись, смотрел ты вслед мне; ангел встречи улетел, а я шла по звонкой тропе и снег скрипел и шуршал, как тонкое битое стекло в такт моим печальным мыслам, что ангел любви - это всегда идол любви, он требует поклонения, поклонения, поклонения, требует славословия, требует жертв, и тогда ты наступил на мое синеву тень и сказал...

## 13

Кастальс - единственный человек, с которым я мог оставаться самим собой, перед ним не нужно было притворяться, выдричиться, вынамываться, наглашивать на сочувствие, набивать себе цену, разыгрывать значительность, радиться в павлиньи перья ложной мудрости. Даже с Филиппом, которого я любил за гениальную страсть к свободе, даже с Николеттой, которую я любил как любовь, как талант, как саму душу, даже с ними я иногда ловил себя на искренности, на лживости ума, воспринятой из образа жизни, а с Кастальсом я был всегда чист и честен.

Кроме той, самой последней встречи, за которой наша разлука стала вечной и мы уже никогда не встретились. И чем тщательнее я пытался скрывать причину, тем ближе Кастальс догадывался.

- Старина, сколько лет мы знаем друг друга? - спросил он. - Лет двадцать?

- Около того. Начиная со знакомства с твоим первым романом, бестселлером года по бездарности, - ответил я, все еще надеясь избежать признания.

- Если мы знаем друг друга так длительно, - Кастальс смотрел мне прямо в душу своими пронзительными голубыми глазами, - тогда чего же ты крутишься, будто грешник перед апостолом? Давно это со мной происходит?

- А как ты сам думаешь?

- Думаю, что лет восемь тому назад. Да, именно тогда я почувствовал первые перемены в себе. Понимаешь, старина, это было и странно, и необычно, и временами страшно. Как будто во мне поселился второй Кастальс, с такой же внешностью, привычками, но с другими, умилительными, умиротворенными мыслями. То, что прежде вызывало во мне гнев, ярость, протест, перестало казаться отвратительным, стало казаться нормальным, естественным, законным. То, что прежде привлекало, вызывало восторг, давало ощущение полноты и счастья, стало видеться безразличным, привычным, оставляло равнодушным. Все мои тексты, прежде вызывавшие споры, делившие читателей на приверженцев и противников, стали тоже иными. Они уже никого не задевали, ни на что не указывали. Я превратился в испанский вариант твоего Сидорова. И самое противное...

- Самое трагическое, - поправил я.

- Самое противное, - повторил Кастальс, - что я ничего не мог с собой поделать. Я менял места обитания, среду общения, привычки времяпровождения, встряхивал себя напитками и сексом - все напрасно: конформный Кастальс уже был связан со мной единой системой мыслесложения, душообразования и почти целиком подчинил меня себе. Я обратился к науке, - врачи чесали в затылках, психоаналитики хмыкали многозначительно, парapsихологи разводили руками. Временами я догадывался по каким-то слабым, неясным, темным сигналам подсознательного, что моя метаморфоза - результат стороннего влияния, но чье это влияние, каким образом оно организовано и с какой целью - оставалось для меня загадкой.

- Когда ты понял, что я знаю об этом?

- Выстроилась связь, Старина, целая цепь фактов.

- Каких?

- Несколько превращений, сходных с моим превращением, произошло в разных местах, но примерно в одно время. Несколько фантастических предположений, высказанных разными людьми по поводу психоинженерии. Затем ты - твоя реакция на смерть Филиппа, затем необычность Шарпантье, его исключительное своеобразие, таинственность и особенно то, как ты его опекаешь. И, наконец, эта конференция и особенно эти два репортера. Они исполнители?

- Нет, Пабло, они просто клерки. Или, вернее, лазутчики. Носятителем психического заражения была здесь мадам Сидорова. Но она, бедняжка, об этом сама не знает.

- А ты, Старина, избежал заражения?

- Нет, они действуют избирательно и сначала я их просто не интересовал. А теперь я их интересую, но не сам по себе, а затем, что они рвутся добраться до Шарпантье. Но они его никогда не получат.

- Их много? Чего они хотят? Как они действуют? Что можно против них предпринять?

Ответил я не сразу - нужно было из массы предположений, предчувствий, догадок, уверенностей выбрать самые точные.

- Не знаю, Пабло. Наверное, не много. Два-три десятка интеллектуалов, не больше. Но не в них суть. Эту разрозненность можно остановить только если добраться до этих источника, до самой идеи. Для

этого необходимо вернуться в прошлое и кое-что там изменить. Что я и пытаюсь делать.

- Понимаю, - сказал Кастьальс. - Твое обладание временем.

- Да, сейчас это единственное полезное мое умение. Все прошедшее во мне - уже пустяки... Посмотрим, что из этого получится...

- Я могу тебе чем-нибудь помочь? - спросил Кастьальс.

- Нет, Пабло, никто не может мне помочь. Тебе только-только помочь самому себе. Как? Я объясню... Естественно, что все услышанное от меня ты сохранишь в тайне... Лет пятнадцать тому назад, а может и больше, одному гениально-сумасшедшему немцу удалось открыть, изобрести способ электромагнитной инъекции в поджерку определенной комбинации ферментов, исключительно быстро и заметно влияющих на духовный мир личности в пределах концептуации и темперамента человека. Причем, сначала эти ферменты инъцировались в человека-носителя, а затем путем психического заражения распространялись в среде обитания. Человек терял свою агрессивность, становился послушным исполнителем воли коллектива, а поскольку воля коллектива всегда объективируется в высказывании какого-то одного вскака, то, естественно, отдельные люди получали в свои руки большие массы спокойных, послушных людей, неспособных, однако, к творческой работе. Для всей этой операции нашлись предпримчивые организаторы, обеспечена техническая сторона программы, заключены тайные, глубоко скрытые договоры между государствами. Через некоторое время обнаружилось, что платой за общественной спокойствие, спад насилия и жестокости, платой за все это стало заметное снижение интеллектуального уровня населения. Тогда эта интернациональная фирма устроила настоящую охоту за талантами. Потому что подлинный талант, утвердившись на популярности или даже на биогеоценотическом уровне, сохраняет, несмотря на инъекцию ферментов-транкилизаторов, способность анализировать прошлое, реально оценивать настоящее и планировать будущее. Но для любого талантливого человека подобная инъекция ферментов мозга была опасной и часто приводила к гибели зараженного человека. Так они убили Филиппа...

- Но если попытаться организовать общественное мнение?

Я рассмеялся:

- Все прожженные циники, если их хорошенько покрести, оказы-

ваются наивными в своих лучших побуждениях. Неужели ты думаешь, что межгосударственная мафия позволит хоть кому-нибудь широко раскрыть рот, чтобы открыть глаза общественности? Сейчас единственная крепость человека - это он сам.

- Значит, в моей крепости уже давно поселилось предательство?

- Да, Пабло, трижды да! И не только в тебе. Всмотрись и вслушайся во всю современную культуру. Хотя бы в культуру Европы, которая всегда была точкой кипения цивилизации. Где революционеры мысли, бунтари слова, математики звука и цвета? Духовная импотенция - вот что цинится превыше всего и дороже всего оплачивается. Вместо "человек - мера всех вещей" стало "вещь - мера всех людей".

- Но выход! Выход должен быть!

- Нет, Пабло, выхода нет. Есть вход. Отделить себя от зараженной массы конформистов, дать болезни исчерпать себя без призыва свежих ферментов покорности или жестокости, найти новые, необычные для данного человека формы творческого, воссоздающего, пересоздающего поведения и тогда он - спасен.

- Какое-нибудь малообитаемое местечко?

- Лучше всего - необитаемое. Где можно начать с самого первого впечатления. Перебрать все прожитые годы, начиная с трехчетырехлетнего возраста, перебрать все воспоминания, отбрасывая все испорченное, гнилостное, истлевшее и оставить яркое, живое, целостное. Изменить стиль письма, формы, стандарты отбора материала, метафорический багаж. Это долгий труд, тяжкое занятие, хронотливая работа, но зато цель неизмеримо богаче, чем все, потраченные на ее достижение силы.

Милая Николетта, наконец-то я добился того, что утро стало длиннее вечера, зато день - немного короче ночи. Поэтому все мои воспоминания о тебе - это или утренние, илиочные. Трудно определить с уверенностью, чего больше, радости или горечи в свободе времени: и прошлое тянет, и будущее влечет, и мгновение может длиться до изнеможения вечно.

...Мадам Шаброль оказалась широко и свободно мыслящей матерью, и после семейного праздника и после следующего ленча в кафе у Пиаже, и после настоящего ночного клуба с напитками, музыкой и танцами, куда мы ввалились целой толпой - Николетта с двумя милыми подругами, Хильбер с двумя милыми друзьями и я, как *pater familias* - было шумно и весело, и в меру интимно, и спокойно, будто дома, среди родных и знакомых, таких близких, привычных, немного надоеvших, что я уже было начал скучать, если бы Николетта то и дело не забавливала меня своими шутками, половина смысла которых ускользала, прячась в лице Николетты, в углах глаз и в углах губ, таких свежих, что их не портила даже губная помада, и после всего этого мадам Шаброль сказала, что доверяет *мене*.

- Вы, русские, чувствуете себя в своей тарелке в любом месте, хоть на этом свете, хоть на том, - сказала она так, будто по крайней мере полстолетия жила исключительно среди русских, - я вам доверяю, месье.

- Благодарю, мадам. Обычно мне доверяют почти все и крайне редко ошибаются. Нас, русских, исключая особенно глупых, на всех перепутьях ведет покровительница - Святая Ирония. Ей можно доверить все, даже небесный огонь семейного очага.

(Антуан ведь еще не приехал и Сесиль тоже)

- Так вы хотите, чтобы Николетта сопровождала вас в Марсель?

По правде говоря, я помнил, что обмолвился о намерении побывать в Марселе, но убей меня Бог, если бы я помнил, что о чем-то просил мадам Шаброль.

- Мадам, - сказал я умоляюще, и торжественно поднял два пальца. - Я клянусь!..

- Не надо клясться, чтобы не пришлось нарушать свою клятву, - мудро улыбнулась мадам Шаброль умными циничными глазами. - Я вам верю. Разница в возрасте и особенно те высокие моральные принципы, которые отличают вас, русских...

- Да, мадам, вы правы. Наши моральные принципы чрезвычайно высоки. Так что приходится задирать голову, чтобы их разглядеть.

...И вот мы в голубом двухместном купе ночного экспресса. Николетта - по-дорожному: в брюках и тонкой шерстяной кофточке, волосы на висках взбиты, и это делает лицо - специально для меня - старомодным, наивным, сентиментальным, трогательно-искренним; я - по-дорожному: в брюках и толстом шерстяном свитере, подбородок трикотажный выбрит и, кажется, он отражает и тусклую поверх-

ность темного окна справа, и хромированные крючки, и поручни, и кнопки.

Между мной и Николеттой — вагонный столик, и неотвратимая разница в целое поколение равнодушия, жестокости, бездуховности. Какая-то иррациональная грусть и запоздалая нежность, и жалость к абстрактному человеческому одиночеству наполняют меня до краев и покачивается в такт и ритм движения поезда, расплескивается в слова, несущие не самый смысл, а душу смысла, цвет чувства, окраску настроения.

— Чего это тебе взбрело, девочка, пускаться в неизвестность со старым одиноким неудачником, который к тому же давно выпустил из рук все свои высокие моральные принципы и живет только низкими истинами? Зачем ты заставила меня обманывать мадам Шаброль?

Николетта не сразу отвечает, а слушает и рассматривает меня с жалостливой старомодной улыбкой, как старого друга после многих несчастий и долгой разлуки.

— Ангел, — говорит она, наконец, — мой ангел-хранитель, долго дремавший, вдруг спохватился и указал на тебя.

— Зачем он это сделал? — строго спросил я.

— Не знаю, — покачала головой Николетта, — наверное, так было угодно Ему. Чтобы я перестала быть автоматом и обрела душу.

— Спасибо, девочка. Не проще ли было сходить на исповедь? Не так хлопотно и гораздо дешевле.

— Глупый, — сказала она. — Такой умный, а еще такой глупый. Разве на исповеди я что-нибудь обретаю? Теряю — да. Теряю тайну своего греха, теряю свободу будущих поступков.

— Гм...

— Неужели же ты думаешь, что как только мы останемся вдвоем, я начну тебя соблазнять?

— И-и-и, по правде говоря, я на это надеялся.

Николетта улыбнулась:

— Ты не тело мое волнуешь, а душу. Хотя... какой-нибудь случайный поцелуй, легкий как мотылек, смог бы растопить скованность в разговоре.

Я привстал, взял ее вадую руку и присенулся губами к пальцам.

— Николетта, я изложен твоим умом, унижен твоей добротой, убит твоей красотой.

- Чисто мужской извивательный комплимент, - улыбнулась Николетта. - За ум хвалят уродин, за доброту хвалят Сескарактерных, а за красоту хвалят, когда уже ничего хорошего сказать нельзя.

Тогда я привстал, потянулся к ней и коснулся губами порозовевшей щеки:

- Милая, будь счастлива полной мерой на все времена.

- Старый седой романтик, - сказала Николетта, улыбаясь одиними глазами. - Таким ты мне нравишься.

- Нет, - не согласился я. - Зрелый циник. Таким я себе нравлюсь больше. Все бывшие романтики становятся циниками, когда проходит весь путь познания себя и людей. А я, кажется, повидал все, кроме могилы. Но и она, надеюсь, меня не минует. Правда, я не тороплюсь. Жизнь, кроме незавершенных дел, сама по себе приятна: краски, линии, запахи, звуки, - вся плоть жизни, цветущая и сочная, когда она на подъеме, или гимнастичная и гаснущая, когда она больна или изживает себя.

- Черт побери, из тебя получился бы неплохой проповедник.

- Не ругайся и не спори из себя этакую блефабашную...

- Смелее. Тебе подсказать слово?

- Не надо, сам знаю слова. А проповедника из меня не получится. Для этого нужна очень большая вера, обширная вера во все те многочисленные чудеса и надежды, без которых нет ни проповеди, ни паствы.

- Во что же ты не веришь? - спросила она.

- Я не верю в науку, она все дальше и дальше уходи от своей цели - человека; не верю в демократию, всякую - правую, левую, серединную, и поэтому да здравствует индивидуализм; не верю в искусство - оно еще никого не спасло от голода и болезней; не верю в прогресс - после него на земле делается все тоннее и тоннее; не верю в счастье, формулу обмана простаков, да мало ли во что я не верю!

- А во что ты веришь, если собираешься жить, несмотря ни на что? - спросила Николетта каким-то особенно глубоким, прерывистым голосом, будто от моего ответа зависело что-то необычайно важное, главное, что обычно сilitся вспомнить в запутанных или решавших обстоятельствах.

Я взглянул в ее глаза, зеленовато-серые, и увидел то выражение склонящего доверия, которое редко возвращалось мне у людей, все-

гда и везде отъявленных эгоизмом, злосычанием, отдельными интересами и, наоборот, встречается у хороших умных животных, еще не испорченных близостью к человеку.

- Верю, - сказал я и сам, впервые за долгое время, поверил себе, - верю в то, что сейчас за окном ночь, что мы едем в Марсель повидаться с одним смешным чудаком; что ты сидишь передо мной, умная, милая и доверчивая; что ты очень талантлива, но в этом твое несчастье, потому что всякий талант - несчастье, если не уметь с ним справляться; что через несколько дней мы расстанемся и что уже сейчас все во мне склоняется от жалости и страха; что через полчаса мы закажем ужин - *sot-l'y-laisse et un souper de vin* (размером в две бутылки) и еще *souchong* и что-нибудь сладкого и фрукты, какие есть; что потом до самого Марселя нам будет так хорошо вдвоем, что от этого можно умереть; что завтра вечером мы вместе со смешным чудаком будем плыть вдоль побережья на тартане и говорить обо всем на свете, - неторопливо, как будто ни время ни течет, ни обстоятельства не случаются, а все всегда было и есть на вечные времена; что потом ты вернешься домой и закончишь свой медицинский колледж; что мы будем видеться не раз и не два, и нам будет также хорошо, как в первый раз, и еще лучше; что потом ты родишь ребенка, и это будет красивый и добрый ребенок, потому что мы любим друг друга...

Я перевел дыхание и закончил:

- И горе тому, кто усомнится в истинности моей веры.

- Амен, - сказала Николетта. - И пусть я буду верна тебе всю жизнь до самой смерти и после. Интересно, что будет, - мальчик или девочка?

- Если рН низка и энергофонд У-хромосом низок, то будет девочка.

- Тогда только девочка, - убежденно сказала Николетта, - и дочка, и внучка, и все остальные. И все они будут называться Натали.

Марсель встретил нас дождливым сереньkim утром: все живые, яркие, ласковые краски пошли из рекламные проспекты и оттого город казался обескровленным долгой хворью. Николетту и меня это не обескуражило: праздничность, полнокровная, солнечная, — жила в нас и требовала выхода, поэтому все нам представлялось возможным и беспечальным.

Толстый и веселый итальянец, пропахший рыбой и бензином, шофер огромного синего трейлера, взялся довезти нас по пути, и через час тряски и темпераментных поворотов мы оказались возле небольшой рыбачьей деревушки, к которой сбегала кепи-рокая каменистая дорога.

Марио (почему-то всякий итальянец непременно Марио, если только он не Антонио) помахал мне рукой, шумно сдуя с кончиков пальцев воздушный поцелуй для Николетты и умчался *à la sueur de son front*, оставив облако пыли и вонючего дыма.

Я поднял саквояж, Николетты и свой, выдавший виды, но крепкий, будто бронированный, чемодан.

— Ты знаешь, куда нам идти? — спросила Николетта, рассмеявшись с такой озорной веселостью, словно все на свете ей напочему-то трам-трава.

— Я все знаю, — похвастался я. — По тропинке вниз и вниз, потом вдоль берега, видишь, сети сохнут; вот вдоль сетей и пойдем налево к тому дому с темной крышей.

— Вижу. Сети, домик, потом — как это у вас называется? — *petit jardin* — палисадник, так, кажется. А около дома какой-то мужчина в белом свитере.

— Умница, все разглядела. Нам к этому господину и нужно. Он ждет нас и от нетерпения копытами постукивает.

— Тогда пошли. Тебе помочь?

— Спасибо, Николетта, не помогай. Ты знаешь, когда в одном из своих прежних существований я работал мулом в каменоломне, мне очень нравилось таскать тяжести. Поэтому все хорошие привычки я перенесу из одного бытия в другое.

— А кем я была?

— Птицей, — уверенно ответил я. — В недавнем прошлом ты была птицей,

— Да, я вспоминаю смутно. Слабо и смутно, как след забытого сна. Тогда мне долго не удавалось решиться полететь. Сидела на краю гнезда, и страшилась высоты и ветра, и шумящих деревьев, а мое дерево раскачивалось все сильнее и сильнее, а я все крепче вонзала когти в сваленную подстилку, а потом сестра-птица столкнула меня вниз, и это был подъем ветра, и я стала падать и от укуса закрыла глаза и распахнула крылья и вдруг почувствовала, как меня что-то толкает вверх, выше и выше, и это было такое счастье, что в горле у меня что-то заклокотало и я закричала: "Э-гей!", — закричала Николетта и замахала над головой руками.

Мужчина в белом свитере, он был уже хорошо виден, лениво вынул руки из карманов и приветно вскинул ладонь, помахал из стороны в сторону, двинулся нам навстречу.

Минут через пять в лабиринте рыбачьих сетей, остро и прочно пахнувших мокрой солью и водорослями, он тискал меня в объятиях, похлопывал по спине, отодвигался, чтобы получше разглядеть и снова похлопывал по спине. Потом, не сводя распахнутых рук, двинулся было обнять смеющуюся Николетту, но я остановил его за локоть:

— Э, подожди, это я и сам умею.

— Ну, старина, — рассмеялся Грей, — экий ты заскорузлый ревнивец, консервативный югоист. Ведь все люди братья и сестры, не так ли, мадемуазель?

— Не знаю, — улыбалась Николетта, — но это очень даже может быть. Однажды, помню, патер Шарль — духовник моей матери, говорил об этом. Но что именно говорил, я забыла.

— Не пора ли вас представить, пока вы не забредли в богословские джунгли, где мне вас будет и не отыскать. Николетта, это тот самый Грей, о котором я столько думал последнее время. Си, это та самая Николетта, о которой я тебе еще ни слова не говорил. И не скажу. Ты сам увидишь и все поймешь.

Николетта тотчас, *d'un seul coup*, легким быстрым взглядомхватила сухую kostистую фигуру Грея, от толстых ботинок на крепкой подошве до резкого грубо-натертого лица и светлых спутанных волос.

Грей улыбнулся, подмигнул и крепко, но бережно ухватил противную тонкую ладонь Николетты.

— Брад вас видеть в своем доме, мадемуазель, — сказал он. — По вашим глазам я вижу, что вы человек, которому не опасно доверить и доверяться, и поэтому вы всегда, в любой ситуации можете рассчитывать на Сильвестра Грея, который может все, что только возможно на земле.

Он взял наши вещи и пошел впереди, медленно, пружинисто, точно и чуть покачиваясь, как человек, одинаково привыкший ходить по морю и по горным тропам.

Дом Грея - старый, но такой с виду крепкий, будто он собирался пережить подводные своих владельцев. В доме было три комнаты, гостиная, кабинет, спальня и крохотная кухня с дубовой скамьей вдоль широкого окна, дубовым столом, электрической плитой, встроенным рефрижератором и раковиной. Все точно такое, каким оно было по описаниям много раньше и каким осталось много позже. Я заметил: живя в долгом и добром соседстве с вечным морем и вечными горами, люди не жаждут перемен, потому что реже испытывают разочарование, - под шум воды и молчание камня и радость и горе встречаются спокойнее и провожаются терпеливее.

- Вы заплыли в дороге, пойдемте, Николетта, я полю вам на руки, - сказал Грей, поднял с пола у двери большой фалисовый кувшин с водой и вышел на улицу. Николетта с улыбкой последовала за ним.

Я понял: Грей станет "испытывать" Николетту. Он считал, что достаточно задать человеку с десяток специально продуманных вопросов, чтобы определить, с кем имеешь дело. Я никогда не видел, как он это делает, да и не верил в его эксперименты, полагаясь более на интуицию и лическую опытность, чем на какуюнибудь особенную теорию или практику идентификации личности. Даже Minnesota Multiphasic Personality Inventory меня не убеждал. Кроме того, по-моему, молчание говорит о человеке точнее, чем его слова: лично я насчитывал до сорока оттенков молчания, - оно могло быть сухим, выкидательным, восторженным, юпящим, трусливым, грозным - разным. Молчание Грея - будоражило, заставляло быть начеку. Молчание Николетты было негромким, спокойным, легким, под него хорошо думалось, сквозь мечталось; оно было неоднотипно и подвижно, свободно и неуловимо, молчание Николетты, без границ и цели, как самовластное естество.

Я подошел к кухонному окну: видели - в обманчивой щели, потому что они были гораздо ближе - громоздились горы, освещенные солнцем так, словно их только что выставили напоказ.

- Ну вот, старина, - сказал я себе, - пройден еще один кусок пути, сделано еще что-то, что может зависеть от тебя. В будущем оставлено гораздо больше, чем в прошлом, и очень скоро уже ничего от тебя не будет зависеть. Кроме двух человеческих судеб,

которые значат настолько многое, так непомерно важны, что их можно не принимать в расчет из-за их огромности. Это мадемузель Николетта и герр Бихнер, которые раскладом судьбы, комбинацией вселенских случайностей стали рядом передо мной, хотя никогда не узнают друг о друге и никогда не будут существовать в одно и то же время. Герр Бихнер... Да хранит его Господь до моего прихода... А дальше? — спросил я себя. — Что же дальше? Финиш у самого старта? На две собственные жизни — одну вперед, другую — назад, — уходит столько времени, сил, что на третью — посмотреть, что же все-таки вышло из всех стараний, не хватает ни терпения, ни желания...

## 16

Милая Николетта, храни тебя прощдение, рок, старшие боги, *dei majores* и все их слуги. Не удивляйся многословию: это письмо — вокзал прощания, и завтра мои случайные, нелепые слова — а где взять другие, когда вдруг отправляется отправление? — уйдут в будущее, к тебе, а сам я — в прошлое, ради хотя бы одного достойного поступка, попытаться хоть что-то исправить в этом наимизленишем мире. Ты понимаешь, Николетта, что в том решительном состоянии, в котором я нахожусь, все личное, околовличное и надличное во мне представляется таким пустым, таким мелочным. Революция в моем генезе еще не началась, и я уже не успел принять в ней участие. А память — историческая, классовая, каствая или каканнибудь иная, — меня не волнует. Кроме памяти в тебе. А здесь, как говорил один твой непримиримый соотечественник:

*Il pleut dans mon coeur  
Comme il pleut sur la ville.*

В тебя я верю, как верят в *alter idem*. Верю, что ты не оставишь литературу, как вечно живое и вечно действенное искусство слова, орудие духовного воздействия. Вернее, сама литература не позволит тебе себя оставить.

Милая Николетта, это письмо, вероятно, последнее, если неудача обозначит мой путь. Такой долгий, что, возможно, мне просто не успеть вернуться к тебе. Слишком многое нас отделяет. Не разделяет, а именно отделяет, как бывают отделены люди на разных

берегах Леты.

Сегодня, здесь, в номере гостиницы базарского городишки, одно ощущение затмевает все остальные чувства — ощущение горькой иронии, такой горькой, что оседает она на губах, как соль пота в долгом переходе, на губах, когда я произношу твое имя. *bienaimé*, оцени эту иронию: сегодня не только нет тебя, ты появившись через двадцать с лишним лет, но сегодня даже твоя будущая мать, Маргарит Кофруа — это всего лишь крошечная сопливая девчонка, а твой отец, Антуан Шаброль, нававчера был отодран за уши учителем латинского за скабрезные стихки в духе Насона. Оцени иронию сущего, когда ты подумаешь получить это письмо. От такого впору власть в отчадние, если не признать, что жизнь все, целиком, — это лишь зеть чего-то гораздо большего. Мы с тобой уже были, Николетта, и уже прожили такой огромный, такой сочный кусок жизни, радостный и одухотворенный. Человек, от рождения поделенный пополам, осужден в тоске невыразимой искать утраченную половину души. Искать и мучаться вопросом: а есть ли она? в каком она времени? Будто некий щупчик на миллионолетнем пространстве рассыпал мозаику человеческих половинок. Счастливчики иногда находят утраченное. Большинство так и прожигает незавершенным. Мне повезло: я нашел тебя. И уже одно это оправдывает любой мой шаг. Даже тот, которому нет прощения, — я сам себе не прошу, если никогда уже не смогу вернуться к тебе в будущее. Все равно я уже есть в тебе, хотя самой тебя уже нет. Все равно мы почти рядом, рукой подать какие-то десятки лет. Все равно, со мной или без меня, у тебя будет многое — и жизнь, и любовь, и понимание. Ведь мы оба избранныки, не правда ли, Николетта?

Не надо думать, будто я привязываю тебя к памяти о том, что второй раз может и не произойти. Ты свободна, как свободен от рождения любой. И это единственное право — право на свободу — следует отстаивать до конца, даже ценой свободы.

Мы не одни, милая Николетта, и если тебе придется так же, ты всегда можешь обратиться к моим друзьям, оставшимся в будущем. Один из них тебе знаком, — это Сильвестр Грей, человек бесстрашный, как смех, и идиотский, как забвение. Все мои друзья предупреждены о тебе и относятся ко всем твоим делам, как к моим.

Знай и помни: я люблю тебя. Это лучшее, на что я способен.

Твой Старик.

Дитрих Шварц, владелец небольшой гостиницы, узнав о том, кто я и откуда, был несколько удивлен и, шевельнув широкими бровями, спросил:

— Что привело вас, иезуита, в эти забытые Богом места?

— Отец наш небесный не забывает ни паству свою, ни пастища.

— Ну-ну, — сказал хозяин, подавая мне ключ от номера, — посмотрим, что на этот раз предложит Отец Небесный.

— Что же вас так настороживает? — спросил я, глядя в глаза хозяина спокойно, доброжелательно и бесстрастно, как и полагалось иезуиту.

— Как бы вам объяснить, падре? Понимаете, какое-то предчувствие у меня. Будто что-то надвигается. Непонятное. Уж слишком часто стали появляться в наших краях странные люди. Туристы со строгой выпрямкой.

— Вот как? — спросил я без видимого интереса. — Но это и не удивительно. В наших краях прекрасный воздух, хорошие горы и зимой, вероятно, от туристов отбоя нет?

— Зимой — да. Но сейчас не зима?

Я сдержанно улыбнулся:

— В иные времена простая потребность передвижения и дух испытательства овладевают людьми.

— Вами тоже?

— Я — другое дело, геэр Шварц. Здесь я почти как светское лицо. Прежде никогда не был в ваших местах, поэтому и решил на неделю остановиться, отдохнуть, побродить по лесам. Кемя лично интересует история культуры и архитектуры, а у вас есть целых три настоящих старинных замка, не так ли?

— Да. Только я в архитектуре плохо разбираюсь и не могу сказать, насколько это интересно.

— Кроме того, — добавил я, — когда-то у вас останавливался один мой друг, и у него сохранились самые приличные воспоминания. Надеюсь, я смогу их подтвердить?

— О, да, — с гордостью ответил хозяин. — Нашей гостинице двести лет, ее основал еще мой прадед, и за эти годы она перешла не одно поколение пасторальцев и обрела если не мировую, то устойчивую германскую известность. А это почти одно и то же.

В большой немецкой энциклопедии моей гостинице уделено две строчки.

- Вот видите, - улыбнулся я, - Кроме того, герр Дитрих, мой друг говорил мне, что у вас превосходная коллекция спичечных этикеток.

- Одна из лучших в Баварии.

- Прекрасно. У меня для вас кое-что есть. Вы не откажетесь вечером подняться ко мне?

- Непременно, - ответил Шварц, и лицо его осветилось добротной улыбкой.

Вечером он пришел, я подарил ему два десятка спичечных этикеток, мы проговорили до полуночи и расстались друзьями. Через несколько дней Дитрих Шварц доверял мне больше, чем себе. Поэтому он очень огорчился, когда в субботу утром, выходя на прогулку, я сказал ему, что вечером уезжаю.

- Искренне жаль, - сказал Шварц, - я уже успел привыкнуть к вам. Неужели ваш отпуск уже кончается?

- Увы, герр Дитрих. Я не принадлежу себе, я принадлежу Ордену. У каждого человека есть свой большой долг, которому надо следовать.

- Ну-ну, падре, - усомнился Шварц, - значит, мир населен долгниками?

В ответ я поднял глаза к небу:

- Сама жизнь наих неискупимый долг. Ей мы обязаны всем и ей мы должны все.

Шварц только вздохнул.

- Герр Дитрих, не заглянете ли вы часов в пять ко мне в номер? У меня к вам просьба.

- Хорошо, падре, я приду.

Я отнес на вокзал чемодан, сдал его в камеру хранения, взял билет да девятичасовой скорый на Париж, единственный скорый, делавший остановку в городе, потом побродил по улицам, зашел к парикмахеру побриться, потом к Надлен, державшей булочную, выпил кофе со слювками, затем пошел в кино - показывали старый русский фильм - не досмотрел до конца, забрел в городской парк, начавший дичать и обрастиать кустарником, долго лежал на траве и смотрел в глубокое бездонное небо.

Где границы добра и зла? Что или что движет человеческими поступками? Если любовь - суть жизни, душа эволюции, то отчего

в мире столько ненависти и жестокости? Неужели только материальными интересами определяется и оценивается всякое наше действие? Если цель бытия — добро, то почему идти к нему не иначе, как по колено во зле?

Подобные простые вопросы всегда озадачивали меня. Любой гимназист, прочитавший два-три популярных руководства по философии, незадумываясь ответил бы на эти вопросы, даже не затруднившись основательными доказательствами.

Но не я, утвердивший себя в сложности, может быть, мнимой. Так, математик, легко движущий среди дифференциалов, биномов и прочего, иногда способен оторопеть перед таблицей умножения.

И, затерянный во времени, чувствуя себя в чужом прошлом, вспомнил я старый, всеми забытый роман начала двадцатого века, и тоску чуждости его героя.

Разбился корабль о земные громады,  
Все спутники в вечность ушли.  
Мне нет возвращенья из этого ада,  
С жестокой планеты Земли...  
А Марса родного багряная сфера  
Сияет в бездонной дали.  
Мне сердце сдавила Земля атмосфера,  
Гнетет тяготенье Земли...  
Да, люди... Их формы так странно похожи  
На расу планеты родной,  
Но сердце, но все существо их не то же  
И нет в нихозвучья со мной.  
Невнятно им высшей гармонии слово.  
Зародыши смутных идей  
Роятся в душе их. Наследье былого  
Царят полновластно надней...

В четыре часа я вернулся в гостиницу, позвонил из номера хозяину.

— Герр Дитрих, через полчаса я должен уйти. Не смогли бы вы подняться ко мне?

Он вошел торжественный, с подносом в руках.

— Отцу-иезуиту разрешается выпить с бедным баварцем?

— Разрешается, — улыбнулся я. — На этот случай у нас есть правило *reservatio mentalis*. Сохранение духовности. Или духов-

ное отожжевание. Когда того требуют высшие интересы и высшие цели, я могу делать что угодно и не нести никакой ответственности.

- Вот и прекрасно, - сказал Шварц. - Я под присягой готов подтвердить, что ни на что дурное вы не способны.

- Спасибо, герр Дитрих. Если понадобится, я попрошу вас прислать. *Nihil a te abest longius crudelitate*. Хотя, по правде сказать, преданность Ордену еще не избавляет меня от ошибок.

Шварц наполнил рюмки.

- Прозит. - Он выпил вместе со мной, замком кровел по губам. - Ваше здоровье, падре.

Помолчал, потом спросил:

- Сколько вам лет, падре?

Я мгновенно прикинул, сколько мне могло бы быть лет и немногого прибавил для убедительности.

- Вы могли бы быть моим сыном, падре. По возрасту.

Я рассмеялся:

- Герр Дитрих, я мог бы быть своим сыном, если б захотел. Но я такое же слабое человеческое существо, как и любое другое. Просто человек, рожденный в грехе и обреченный на искупление.

- У вас была какая-то просьба ко мне?

- Да, вот она. - Я достал из портфеля четыре конверта. - Вот в этих конвертах два письма, а в этом деньги. Это деньги для вас. Письма следует отправить в определенный срок по указанным адресам. В этом конверте - другие деньги. Их нужно отправить через восемь лет, считая от сегодня, - на имя Анет Гроссер. Адрес указан.

Шварц вопросительно поднял широкие брови.

- Я объясню, герр Дитрих. Сколько лет будет стоять ваша гостиница?

- До второго пришествия, не меньше, - убежденно ответил он.

- Кто унаследует ее?

- Мой сын. Сейчас он служит в бундесвере, но потом вернется ко мне и женится здесь. Я уже и невесту ему нашел.

- Я знаю, это дочка Мадлен.

- Язволь. Из нее получится настоящая жена и мать. И мы объединим булочную и гостиницу. И откроем кафетерий и бар.

- Отлично. Это как раз то, что я ожидал. Вы самый основательный из немцев, которых я встречал. Основательный и надежный. Как Библия.

- Это точно, - подтвердил Шварц. - Может, умом меня Господь оделил не щедрым, но зато основательностью и надежностью не оби-

дел. На дипину баварцев хватит. Так когда нужно отправить письма?  
+ - Тут все указано.

- Понятно, - кивнул Шварц. - Извините, падре, в письмах никаких государственных интересов нет?

- Совершенно никаких. Это частное письмо. И это. В одном говорится о любви. Во втором житейские наставления одной моей особе и просьба помолить только меня, чтобы они не завяли.

- Яволь, - сказал Шварц. - Я сделаю это. Точно в указанный срок письма будут отправлены.

- Благодарю, герр Дитрих. Я постараюсь, чтобы в энциклопедии о вашей гостинице было не две строчки, а не меньше пяти. Поэтому что каждый из нас принадлежит не только себе и своим близким, но и истории и человеческой цивилизации. И еще... Я буду молиться за вас.

## 18

Небольшой одноэтажный особняк в конце улицы был затемнен. Накануне вечером на линии произошла авария, поэтому ни один фонарь не горел.

Был вечер. Улицы пустынны. В редких домах горел свет. По телесети национальная футбольная сборная выигрывала у прошлогоднего чемпиона мира, поэтому по пути я не встретил ни души.

Я позвонил у стальной калитки. Из динамика послышался хрипловатый низкий голос. Я назвался, калитка отворилась, я прошел к дому, открыл дверь и очутился в освещенной прихожей.

Карл Бихнер, сорока лет, высокий, худощавый, с аскетическим лицом и высоким выпуклым лбом уставился настороженным взглядом мне в лицо. Он был подозрителен и, значит, мелочен. Это уже лучше. Я впустил его взгляд спокойно, уверенно и насыщенно.

- Добрый вечер, герр Бихнер.

- Прошу, - вместо приветствия он указал на открытую дверь гостиной.

- Вы один? - спросил я.

- А если нет?

- Тогда наш разговор не состоится.

- Да, один. Проходите.

Я оставил портфель у двери и прошел в гостиную. Комната была пуста и просторна. Слева - дверь в спальню. Справа - в ка-

бинет. Прямо в уголу стола углом вдоль стены мягкий диван, перед ним стол. Туда я прошел, чтобы сидеть спиной к стене и видеть все двери.

- Выпить хотите?

- Все равно, - ответил я. - Как вам угодно.

Бихнер молча достал из бара бутылку и рюмки, поставил на стол и сел рядом.

- Итак? - спросил он, глядя мне в глаза. Пожалуй/, он был более подозрителен, чем мелочен. - Вы давно здесь?

- Недели.

- Знаю, - буркнул Бихнер. - Вы остановились у Шварца и выдавали себя за иезуита. - Он усмехнулся. - А вы такой же иезуит, как я китаец.

- Или как Карл Бихнер.

Он бметро взглянул мне в глаза и жестко прищурился.

- Не слишком ли много вы знаете?

- Знание не отягощает, - ответил я, - но позволяет быть осмотрительным.

- Почему вы раньше не пришли?

- Торопиться нужно только на свидание с женщиной. Или на поезд. А вы не женщина и не поезд. Никуда не уйдете.

- А если уйду?

- Без денег?

- Это верно, черт побери. - Бихнер налил в рюмку мне и себе, молча выпил. Итак, - сказал он. - Вами полномочия?

- Самые широкие, герр Бихнер. Как вам уже раньше сообщили, наша фирма весьма заинтересовалась вашим открытием. Мне поручено выяснить перспективность ваших идей, и если я сочту на месте, что дело того стоит, я назову вам номер счета в швейцарском банке и уезжай обратно.

- Какие-нибудь документы?

- Никаких документов подписывать мы не будем, герр Бихнер.

Доверие - ведущий принцип во всех делах.

- А если я скроюсь с вашими деньгами?

Я пожал плечами:

- На этот случай никаких инструкций я не получал. И потом, герр Бихнер, - сказал я мягко, но убедительно, - никто еще от нас не уходил.

- Сумма счета?

- Семь пуль и сорок процентов дохода вас устроят?

Бихнер усмехнулся и постучал себя костяшкой пальца по лбу:

- Эта голова стоит государственного бюджета.

- *Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis acescit,* — сказал я и перевел: — Наша фирма обладает неограниченными возможностями. Мы можем купить полдюжины таких голов.

- Такой головы вы никогда не купите.

- Вот почему я здесь, чтобы купить вас вместе с вашей головой, с вашими идеями. Если по отдельности не продается. Кроме того, генр Бихнер, если такие идеи пришли в вашу голову, они могут пристать и в другую. Логично?

- Логично. Могут. Но не сейчас. А лет через двести-триста.

- Мы фирма солидная и можем подождать. А сегодня все равно вам никто, кроме нас, больше не заплатит.

Бихнер налил виски в узкую и удругу рассмеялся:

- А вы мне нравитесь, господин иезуит, черт бы вас побрал!

- Всему свое время, — смиренно ответил я. — Итак, приступим.

Выключите, пожалуйста, телевизор.

- Это зачем?

- У меня инструкция: содержание разговора не должно быть никем, кроме нас, услышано. Нужен звуковой фон. Чтобы избежать записи на плёнку. К тому же мне хотелось бы краем глаза взглянуть, как выглядывает национальная сборная.

- Как хотите, — буркнул Бихнер, встал, выключил телевизор, развернув экраном ко мне.

- Благодарю вас, — сказал я, — итак, суть вашего открытия заключается...

- В том, что по заказу правительствах, политических или промышленных организаций и фирм мы проводим скрытую ферментацию психики.

- Технология?

- Проста, как насморк. С помощью электромагнитного наведения ферменты группы А, В или С — это в зависимости от целевого назначения — вводятся в психику реципиента. Затем реципиент, как носитель фермента определенной крупы, сам того не ведая, начинает заражать окружающих.

- Всех?

- Нет, наиболее близких ему по группе крови и группе белка.

- Скорость заражения?

- Равна скорости света. Или чуть медленнее, поскольку скорость ионного обмена клетки иная.

- Радиус заражения?

- Пока до пятисот метров, но радиус может быть увеличен беспрецедентно. Вплоть до радиуса земной гравитации.

- Назначение группы ферментов?

- Группа А переводит психику с верхнего для данного лица уровня на нижний, снижает агрессивность, увеличивает степень конформности. Может использоваться против бастующих, студентов и так далее. Группа В - напротив, резко увеличивает агрессивность, повышает степень жестокости, притупляет чувствительность. Может быть использована в вооруженных силах во время конфликтов. Практически с помощью фермента В любой человек, неспособный муху обидеть, становится суперубийцей. Вам не страшно, господин иезуит? Вы побледнели.

- О чём вы? Ах, да, извините. Нет, не страшно. Я внимательно слушаю. О страхе неки не инструктировали. Просто я увидел, что национальная сборная прогрывает.

Бихнер откинулся и машинал рухой.

- Черт с ними. Это все детские игрушки. Никакого азарта. И когда только человечество взрослеет?

- Оно уже взрослело.

- Не понял вас?

- Вот в этом самом моменте, - сказал я торжественно. - В этот самый миг, когда вы излагаете ваши гениальные идеи, человечество, взрослея, переходит на иной, высший виток своего развития. Когда-нибудь на этом самом месте, где мы с вами сидим, будет воздвигнут памятник благодарными людьми...

- Какими же? - пронзился Бихнер.

- Теми, кто иньесцируется ферментом третьей группы, - группой С.

- Догадались?

- Конечно. Ваши мысли гениальны, прости и благородны. Фермент С увеличивает в десятки раз все интеллектуальные, физические и эмоциональные возможности человека. И использовать этот фермент будут только избранные, так?

- Безусловно. Мы не можем ждать милостей от природы. Исправить природу - вот наша задача. Контроль над рождаемостью, контроль над развитием, контроль над будущим. Над самой мыслью, икономикой. Республика Илатона - вот что вижу я впереди. Высший класс управляет. Средний - охраняет. Низший - работает. Никаких проблем. Никакой политической борьбы. Никакого инакомыслия. Рай

земной на вели веков. Диктатура избранных, вы понимаете, господин линезунт?

— Понимаю. Я ошибся в вас, герр Бухнер. Ваши идеи появились слишком рано. До такого человечество не додумалось бы еще лет пятьсот.

— Вы так полагаете?

— Я уверен в этом. И вот теперь мне все ясно. Еще два-три вопроса, и вы становитесь миллиардером, а я уезжаю составлять отчет.

— Выкладывайте ваши вопросы.

— Первый: в каком виде сейчас ваше открытие?

— Фифти-фиfty, — усмехнулся Бухнер. — Человина здесь, — он постучал себя по высокому лбу. — Человина за вашей спиной. Не оглядывайтесь, все равно не увидите. Там дверь, за дверью бумаги и взрывчатка. Это на случай кражи. — Бухнер рассмеялся. — Так что меня можно получить только вместе с бумагами. А бумаги — вместе со мной. Второй вопрос?

— Как скоро может быть применено ваше открытие?

— Через пять-шесть месяцев после начала работ.

— Великолепно! — воскликнул я, собираясь захлопать в ладони, и нечаянно спрятав в карман брюк юбку с виски. Я вскочил, стал отрихивать брюки.

— Одну минутку, — Бухнер ветал, — я принесу гигроскопическую салфетку.

— Благодарю, не надо, у меня есть носовой платок.

Я сунул руку в карман брюк, нашупал рукоятку пистолета и, не вынимая, выстрелил.

Бухнер скратил руками край стола, губы его искривились страшной усмешкой, и я почти почувствовал, собою ощутил до боли, как пуля со смещенным центром ходит в его теле, отыскивая наибольшее сопротивление.

Я выстрелил еще раз. За Чилиппа. Потом за Кастальса. Потом еще и еще — за всех остальных.

Бухнер закрыл глаза, изо рта потекла кровь, красная, пузырьми. Мгновение он стоял, потом будто переломился надвое, согнулся, упал на стол, потом навзничь на пол.

Я прошел в прихожую, внес портфель. Сначала переодел брюки, затем вытащил канистру, облил пол, диван, стол, плеснул на стену за диваном. Положил на стол взрывное устройство, пальцами сквозь

оболочку раздавил ампулу. Посмотрел на часы. До поезда оставалось полчаса. Успев.

Уходя, я погасил в доме свет и прежде чем закрыть дверь, оглянулся. Телевизор был включен, но я не видел, что там происходило. Судя по реакции зрителей, национальная сборная снова выигрывала. Во всяком случае она вела в счете. Детские игры человечества продолжались.

Поезд пришел ровно в девять. И с чемоданом стоял уже на платформе и в девять часов три минуты сидел в купе.

Когда поезд сгибал холмы, покрытые пушнистым лесом, чистеньким и аккуратным даже ночью, где-то в темноте возникла вспышка и потом сквозь шум поезда донесся грохот. Потом появилось зарево. Бельгиец, продавший мне канистру с напалмом, уверял, что напалм этот - вершина химической мысли. Пожалуй, он был прав, потому что минут десять-пятнадцать, пока поезд набирал ход и побежал совсем быстро, зарево на горизонте не исчезало.

## ПЕРЕВОД НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

- стр. I - дни благодарения /лат./
- 5 - страшно сказать /лат./; быть на виду /фр./;  
психическое заболевание /лат./
- 7 - из досуга /фр./; в ложьтых /англ./;  
ужас настоящего /лат./; да здравствует король /фр./;  
Такая милая девочка /фр./; Ладно, уже рассказано /фр./
- 8 - Душа - та же память /лат./; Господи, уже смердит! /лат./
- и в стаде /фр./; простая христианская душа /лат./
- 9 - они полюбят /англ., нем., исп., фр., лат./  
Учитель сказал /лат./
- 10 - Вылупились, оперились, женились и исчезли /англ., жарг./  
Ле пребудут у вас три добродетели: Вера, Надежда, Любовь.  
Но величайшая из них - Любовь /лат./
- 12 - молчаливый, мрачный /исп./; голубая занавеска /исп./;  
спешился /исп./
- 16 - Свобода, Санчо, есть один из самых ценных даров,  
какими небо наделило людей; с ней не могут сравниться  
никакие сокровища, заключённые в земле или скрытые в  
море; ради свободы, как и ради чести, можно и должно  
рисковать жизнью; и напротив, пленение - худшее из зол,  
которое может постигнуть человека /исп./
- 20 - Дьявол прячется за распятием. Не пройдёт /исп./
- 22 - всё завершено /фр./
- 27 - балаганчик /фр./; ругательства /фр./; болтать /фр./
- 29 - горячо любимый, возлюбленный /фр./; я грущу /фр./
- 39 - От сюда нет спасения /лат./
- 40 - с головы до ног /фр./
- 45 - "причёска распутницы" /лат./  
Если хочешь, чтобы тебя любили, люби сама /лат./
- 46 - в полную окружность /итал./
- 47 - мой маленький друг /нем./

- 47 - Радость, мира украшенье,  
Дочь родная небесам!  
Мы вступаем в упоенья,  
О чудесная, в твой храм./нем./
- 49 - И сладок дым отечества. Гомер. /лат./  
Все творения живые  
Радость средь природы пьют,  
Все, и добрые и злые,  
По стезе её идут. /нем./
- 51 - Не противоречит себе только тот, кто ничего не говорит.  
Искать три ноги у кошки /неп./ = заниматься пустяками /исп./
- 54 - Ничего из портфеля, кроме того, что там есть, нельзя извлечь /англ./
- 56 - После меня хоть потоп /фр./
- 59 - пустяк, мелочь /англ./
- 71 - отец семейства /лат./
- 74 - деликатесное мясо и капельку вина /фр./; чай /фр./
- 75 - в поте лица своего /фр./
- 76 - одним взглядом /фр./
- 77 - Миннесотский многофазовый личностный тест /англ./
- 78 - И в сердце растрева,  
И дождик с утра /фр./
- 83 - Нет свойства более мне чуждого, чем жестокость /лат./
- 86 - В грязный сосуд что ни влей, всё прокинет /лат./